Анна Берсенева

Возраст третьей любви

Гриневы. Капитанские дети

Анна Берсенева

Возраст третьей любви

«Анна Берсенева»

Берсенева А.

Возраст третьей любви / А. Берсенева — «Анна Берсенева», — (Гриневы. Капитанские дети)

ISBN 5-699-08677-3

Врач МЧС Юрий Гринев – из тех, кого называют «мужчина с прошлым», и это привлекает к нему внимание женщин. Но его работа в экстремальных ситуациях только со стороны выглядит романтично, житейские же блага – деньги, карьера – с ней не связаны, поэтому Гринев не считает себя удачным партнером для женщины, которая ищет в жизни успеха. А жизнь молодой тележурналистки Жени Стивенс основана именно на успехе. И у нее есть все, что для этого необходимо: высокопоставленный отец, эффектный бойфренд, которого называют «лицом российского телевидения», безоблачные перспективы на будущее. Встреча Юрия и Жени выглядит случайной, совместная жизнь – невозможной...

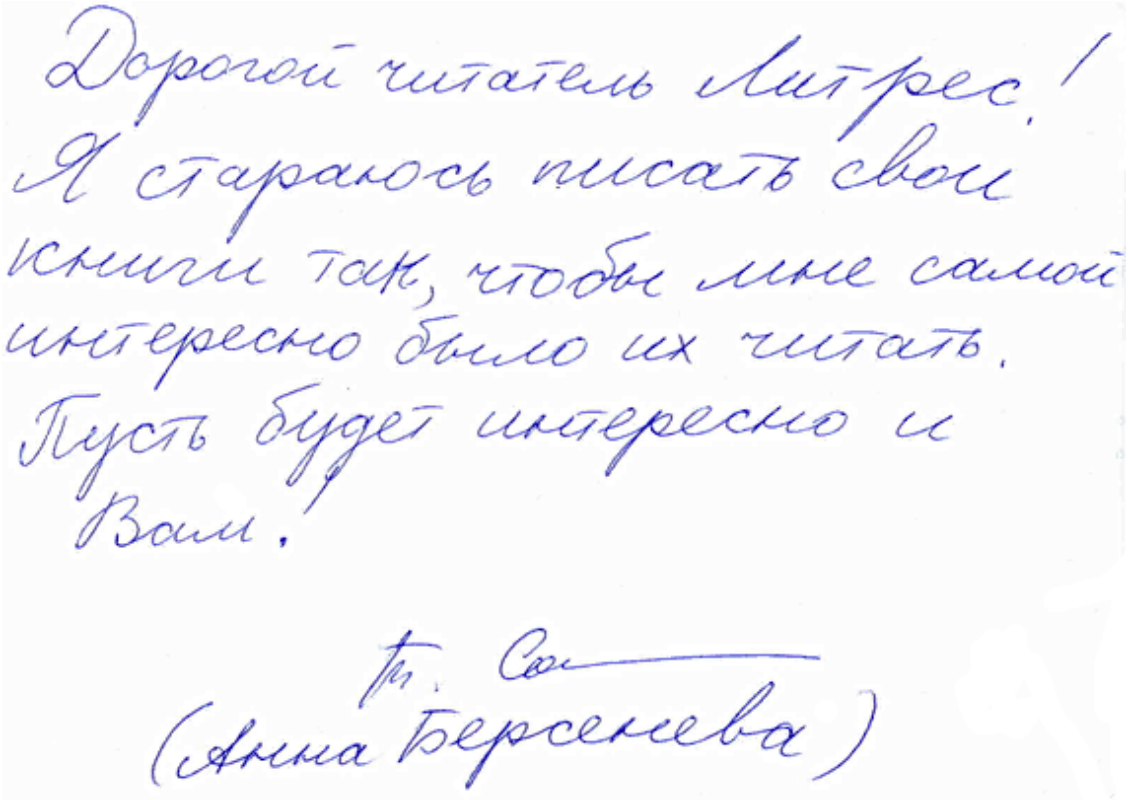
ISBN 5-699-08677-3

© Берсенева А.
© Анна Берсенева

Содержание

Часть ПЕРВАЯ 6
Глава 1 6
Глава 2 12
Глава 3 23
Глава 4 27
Глава 5 36
Глава 6 43
Глава 7 51
Конец ознакомительного фрагмента. 52

Анна Берсенева
Возраст третьей любви



Часть ПЕРВАЯ

Глава 1

Труднее всего привыкнуть, что твоя жизнь немного опережает время.

И не как-нибудь абстрактно опережает, не иносказательно, а по-настоящему. Ты всегда живешь в завтрашнем дне, и все, что еще только произойдет с твоими близкими завтра, через восемь часов, с тобой происходит вот уже сейчас, сегодня.

За три года, прожитые на Сахалине, Юрий Валентинович Гринев так к этому и не привык. Он просто перестал ощущать эту странную, немного нереальную разницу во времени, перестал машинально высчитывать, который теперь час в Москве.

И в тот день, когда он перестал это делать, – понял, что забыл Москву.

Он понял, что наконец перестал соотносить свою нынешнюю жизнь с прошлой, и вздохнул с облегчением и одновременно с самому себе непонятным оттенком горечи. Как будто кто-то таким образом разрешил ему не думать о смутных и тревожных вещах, о которых думать не хотелось и раньше, но думалось помимо воли. Непонятно было только, почему не обрадовала эта наконец обретенная свобода от прошлого.

И вот теперь, выходя из операционной в девятом часу утра, Гринев ни о чем таком и не думал. А думал только о том, что уже девятый час, что дежурство его кончилось, а в отряде у него сегодня выходной и, пожалуй, можно будет поспать часов пять совершенно спокойно. Впрочем, если выяснится, что за время его больничного дежурства возникли какие-нибудь неожиданные обстоятельства, которые требуют его непременного присутствия, – тоже ничего страшного. Он просто не поспит, и к этому ему тоже не привыкать, тем более сегодняшняя ночь была средней тяжести: в основном бытовые и не слишком опасные травмы, не то что в прошлый раз.

Юре часто не удавалось поспать после дежурства, еще когда работал в Склифе: просто наваливалась новая работа, дневная, и сон как-то сам собою отодвигался на потом. А в Армении, потом в Абхазии о сне вообще забывали, и ничего.

Но он был тогда молод, здоров и, главное, постоянно чувствовал в себе то ровное воодушевление работой, которое помогало ему даже больше, чем молодость и здоровье. Здоровье вроде никуда не делось, а воодушевления теперь, конечно, стало поменьше. Но оно все-таки осталось, не ушло совсем.

И поэтому, выходя сумеречным осенним утром из операционной, Юрий Гринев чувствовал то, что называл «остаточной бодростью», которая, в случае необходимости, почти без его усилий могла продлиться на сколь угодно долгое время.

– Что в Москве у вас творится! – Этими словами, да еще произнесенными слегка растерянным тоном, вместо «доброго утра», встретил его в ординаторской Гена Рачинский. – Путч опять, а, Валентиныч?

Рачинский стал завотделением меньше года назад. Работай Гринев к тому времени только в больнице, заведующим был бы он, это все понимали, и Гена тоже. Но заведовать травматологией и одновременно работать в отряде – это было, конечно, невозможно. Да и Абхазия еще была у всех на памяти – когда его командировка вместо двух недель растянулась на три месяца.

Став заведующим, Гена долго еще приглядывался к Гриневу: отслеживал реакцию, предполагая зависть и скрытую неприязнь… Это было так смешно, что Юра даже не тратил сил на опровержение. И как опровергнешь – лицо, что ли, делать одухотворенное?

Как все-таки странно: не понимать, что сожаление о сделанном выборе – самим ли сделанном, судьбою ли – глупо и бессмысленно…

Через полгода Рачинский перестал приглядываться к Юриным реакциям, это произошло как-то само собою и больше не вспоминалось.

– Какой еще путч? – удивленно спросил Юра. – Ты, Ген, видно, вечер вчера неправильно построил! Головка не бо-бо?

– Почему неправильно? – хмыкнул Гена. – Очень даже правильно! Посидели «Под мухой», все путем. Смотри, картинка по телевизору вместо новостей, того и гляди «Лебединое озеро» заиграют.

Кафе «Под мухой» находилось в Южно-Сахалинске прямо рядом с вокзалом. Его называли так по привычке: еще с тех пор, когда тучи мух роились над грязными столами, садясь на замызганные тарелки с серыми пельменями и тусклые стаканы с водкой. В самом начале перестройки кафе взял в аренду оборотистый кореец и с невиданной быстротой превратил его в образцовую картинку будущего капитализма: с чистенькими кабинками, по-домашнему приготовленными корейскими блюдами и улыбчивыми, хорошенькими официантками. Вот только название оказалось прилипчивым, хотя давно уже не имело ничего общего с действительностью.

Об этих неважных, но почему-то тоже прилипчивых мелочах Юра подумал машинально, оглядываясь на стоящий в углу ординаторской телевизор. Действительно, заставка первого канала безмолвствовала на экране.

– Вроде депутаты против Ельцина взбунтовались, – сказал Гена. – А сам он где, вообще не поймешь. Да что вообще поймешь, когда у нас тут уже завтра, а у них, считай, еще вчера!

Прошлое снова напоминало о себе, настигало несовпадением времени, безмолвной картинкой на экране – всеми неясностями, от которых так хотелось уйти.

– Ну, значит, до их завтра и потерпим, – хмуро бросил Юра. – Что гадать-то? Потом разберемся.

– Да-а, в прошлый раз когда путчевали, все попонятней вроде было… – задумчиво произнес Гена. – Даешь свободу, и все дела. А теперь поди пойми! Юр, ты что-нибудь понимаешь?

Отвечать на Генин вопрос не хотелось: и потому, что он, конечно, тоже ничего не понимал, и потому, что невостребованная «остаточная бодрость» сменилась усталостью. Но Рачинский не отставал.

– Нет, ну ты скажи! – повторил он. – Ты скажи, Юр, вот ты, например, куда бы сейчас пошел, если б в Москве был? Кого защищать?

– Дежурил бы, наверно, – чтобы отвязаться, ответил Юра. – В больнице или в отряде. Да что ты спрашиваешь – когда это мы без работы сидели?

– А в первый путч ты за кого ходил? – не унимался Гена: он от природы был разговорчив, а бурная современная жизнь, особенно политическая, только усиливала это его природное качество. – Ты же, кажется, в первый путч как раз в отпуске был, к своим ездил?

– А я тогда как раз девятнадцатого августа вернулся. – Юра через голову стянул зеленую хирургическую рубашку. – Ни за кого не успел… Ладно, Гена, пойду, что ж перед телевизором-то зря сидеть? Потом узнаем. Ты Лазарева моего сегодняшнего, с ампутацией, завтра сам перевяжи, ладно? Боюсь, загноится, а Люся не заметит вовремя.

Люся была опытной перевязочной сестрой, но Юра не любил с нею работать: чувствовал в ней какое-то равнодушное умение – и придраться невозможно, и доверять не хочется.

– А она все равно заболела, – ответил Гена. – Сам перевяжу, не волнуйся. С новенькой, – подмигнул он. – Не видел еще? Така-ая, скажу тебе, птичка – пальчики оближешь! Кореяночка, молоденькая, глазки как у стрекозы… А фигурка! После училища распределилась, двадцати нет, значит.

– Ладно, ладно, – улыбнулся Юра. – Ты, главное, сам перевяжи, девочка-то ничего еще не умеет, наверное.

Женщины были слабостью заведующего травматологией Гены Рачинского, и он не делал из этого секрета. А что такого, если представительному и разговорчивому сорокалетнему мужчине нравятся красивые женщины? В Генином отношении к ним почти не было похабства, и было даже какое-то особенное франтоватое изящество, любимое всеми дамами, за которыми он ухлестывал одновременно. Даже жена смотрела на его романы сквозь пальцы, по всей видимости, находя в супруге достоинства, которые уравновешивали эту слабость.

– Зря ты, Юрка, – заметил Рачинский. – Ей-Богу, зря! Катерина опять тобой интересовалась. Знаешь, из ожогового? И чего не взять, когда, считай, сама дает? Тебе хорошо, и ей приятно…

Это замечание Юра слышал уже только одним ухом, свободным от телефонной трубки: как раз выслушивал доклад дежурного о том, что все спокойно, никакого чрезвычайного положения не объявлено и, значит, никаких пока нет причин ему отменять свой выходной.

– Я подумаю, – кивнул он, нажимая на рычаг. – Тебе, Ген, первому сообщу.

– Буду ждать с нетерпением! – хмыкнул Рачинский. – Вот же люди, счастья своего не понимают! Живет один, не звеглит никто над ухом, бабы сами липнут… Ну, дело хозяйское.

Простившись с Геной, Гринев спустился по гулкой прокуренной лестнице и вышел из больницы.

Генкины расспросы были ему не слишком приятны. Если не отвечать на них в ожидаемом собеседником духе, то надо просто уходить от прямых ответов и отделываться шуточками. А это тоже надоедало… Юра и сам не понимал, почему он, мужчина, перешагнувший порог первой молодости и вступивший в расцвет своих лет, не обиженный ни умом, ни внешностью, ни работой, явно имеющий успех у женщин, – совсем не стремится все это использовать. Да, по правде говоря, ему и не хотелось это объяснять, даже себе самому не хотелось, а уж тем более Рачинскому.

Не хочется – это было самое исчерпывающее объяснение, которое он мог себе дать. За свои тридцать лет Юрий Гринев понял, что «не хочется» – вообще единственное честное объяснение человеческих поступков. Почему не хочется поступать так или иначе, это уже другой вопрос. Лень, противно, неинтересно, стыдно, скучно или смешно – у каждого свое. Но через себя все равно не перепрыгнешь, и чего не захочешь, того делать и не станешь, как себя ни обманывай.

Это было не Бог весть какое открытие, зато его собственное – и, не будучи склонным к отвлеченному философствованию, Юра даже обрадовался, когда его совершил.

Кажется, это произошло сразу после института, он первый год работал в Склифе. Ну да, тогда и произошло, когда после возвращения из Армении ему пришлось объясняться с парторгом.

– Почему же все-таки, Юрий Валентинович, вы проявили такую странную самодеятельность? – спрашивал парторг.

Парторга в таком большом учреждении, как Институт Склифосовского, не очень хорошо знали даже давно работающие врачи, а уж Гринев не знал и подавно.

Юра смотрел на него, пытаясь уловить во внешности этого средних лет мужчины хоть что-нибудь, за что могло бы зацепиться внимание: взгляд какой-нибудь особенный, что ли, или хоть бородавку приметную на губе. Ни бородавки не было, ни тем более взгляда. Глаза у парторга были светлые, волосы русые, нос прямой. Смотрел он вроде бы испытующе, но Юре отчего-то показалось, что это внимание во взгляде – на самом деле только маскировка, умелая имитация внимания, за которой не кроется ничего, кроме равнодушия.

Это было какое-то очень глубокое, даже глубинное равнодушие, которое никак нельзя было уловить по внешним признакам. Внешне-то как раз парторг демонстрировал явный интерес к тому, о чем спрашивал. Казалось, что он и впрямь хочет узнать, зачем это Юрий Вален-

тинович Гринев, молодой, перспективный ординатор, напорол горячку и улетел в Армению, не дожидаясь, пока от Института Склифосовского будет направлена группа врачей.

– Почему вам было не подождать немного и не полететь как положено? – Теперь парторг иначе сформулировал вопрос, но суть была та же. – Вы что, считали, только у вас есть сознательность, а здесь сидят бездушные эгоисты?

– Я не считал, – наконец ответил Юра, так и не найдя в лице парторга ни единой зацепки для взгляда. – Я об этом вообще не думал. У меня остался неиспользованный отпуск, и я его использовал.

– Тем более странно! – хмыкнул тот. – Зачем использовать свой отпуск, почему было не дождаться официального направления?

Юра почувствовал, что ему становится невыносимо скучно.

– Не знаю, – пожал он плечами. – Не хотелось дожидаться.

Можно было, конечно, объяснить, что в группу от Склифа наверняка включили бы не вчерашнего студента, а опытных врачей, и это правильно, и он это прекрасно понимал. Так оно, кстати, и получилось, Юра сам убедился в этом уже в Ленинакане, когда отыскал своих, склифовских, которые оперировали на уцелевшей станции «Скорой помощи».

И чего ему было ждать? Пока под развалинами никого живых не останется? Он и пошел к знакомому комсомольскому деятелю и как раз успел включиться в группу, которая вылетала в Армению следующим вечером. И завотделением прекрасно все понял, сразу подписал заявление на отпуск.

Юра вообще не понимал, отчего вдруг эти вопросы, и этот парторг, и это равнодушие, замаскированное под внимание, даже под угрозу… Это так не сочеталось со всем, что происходило с ним там, это пришло из какого-то другого, параллельного мира, в существование которого Юре трудно было теперь, после всего, поверить…

Можно было начать объясняться, но зачем? Парторг наверняка и сам прекрасно знал, что Гринева не направили бы от Склифа, и спокойно врал теперь, задавая дурацкие вопросы и глядя прямо ему в глаза.

И в эту минуту Юра понял вдруг, что сказал чистую правду. Что объяснение, которое он дал просто от нежелания объяснять, – исчерпывающее. Ему не хотелось сидеть и ждать. Ему хотелось быть там, где он считал нужным быть. А все остальное просто комментарий, который даже в книжках мало кто читает.

С тех пор прошло пять лет, а это «не хотелось» и теперь казалось Юре единственным правильным объяснением. Может быть, оно и отдавало эгоизмом, но об этом он не думал.

Коридор, по которому он шел к двери своей квартиры, напоминал коридор дома Нирнзее на углу Тверской и Гнездниковского.

Юра тогда еще подумал об этом знаменитом московском доме, когда впервые шел по вымытому коридору облздравовской малосемейки в Южно-Сахалинске. Здесь ему предстояло жить, может быть, очень долго, это был теперь его дом; Юра оторвал привязанную к ключу тряпочку с номером своей новой квартиры.

А в дом Нирнзее его лет с пяти водила когда-то бабушка Эмилия. Водила без особенной необходимости – там не было для Юры ничего, как он тогда считал, интересного, только всякие скучные издательства и редакции, в которых работали бабушкины бесчисленные знакомые. Но она любила брать его с собою повсюду, а он любил ходить с нею повсюду, и потому безропотно сидел в тесных прокуренных комнатках, смотрел в окно на широкие, как поля, зеленые крыши соседних домов, читал взрослые книжки, пачкал руки о свежие журнальные гранки и ожидал, когда бабушка наконец переговорит со всеми обо всех своих загадочных делах.

Эта загадочность женских разговоров с детства была ему так же привычна, как сама бабушка Миля, любимая и любящая. Поэтому Юра не боялся женских загадок и не слишком вдумывался в них.

А дом Нирнзее сразу вспомнился ему здесь, в Южном, потому что тоже ведь был обыкновенной дореволюционной малосемейкой; разве что потолки повыше да комнаты попросторнее.

В конце коридора, у окна, стояла Настя Рыбакова. Она курила под форточкой, дверь в ее комнату была полуоткрыта.

– Юрий Валентинович! – позвала она, издалека заметив его. – А в Москве путч опять, слышали? Коля перед работой по телевизору включал. Они там в этом Белом доме заперлись и телевидение хотят захватить, стреляют. Не поймешь кто, не поймешь в кого, ужас прямо! Что ж теперь будет, а?

Наблюдая, как Гринев идет к ней по коридору, Настя сделала шаг ему навстречу. Полы ее халатика распахнулись, высоко открыв красивую ногу, и Настя поправила халатик – но не внизу, а сверху, у выреза, где и так все было в порядке.

– Не знаю, Настя. – Юра остановился в двух шагах от нее. – Я с дежурства только, ничего еще не знаю.

– Ну, я думала, может, вам там, как спасателям из Москвы, сообщили что-нибудь, – объяснила Настя.

– Я из больницы, с дежурства, – повторил он. – Меньше тебя знаю.

– Жа-алко! – протянула Настя и снова поправила на груди халатик, одновременно делая какое-то особенное, стреляющее движение с утра подведенными глазками. – А я думала, зайдете, расскажете…

– У тебя там пригорает что-то. – Улыбаясь, Юра кивнул на ее приоткрытую дверь. – Извини, Настенька, спать хочу – умираю.

Настя была как раз из тех женщин, которые были очень не прочь и с которыми вот именно не хотелось. С ней не хотелось главным образом потому, что жили по соседству и часто курили здесь же, в коридоре, вместе с ее мужем Колей Рыбаковым, шофером со «Скорой». И поэтому противно было, что она так завлекающе поправляет халатик и смотрит поблескивающими голубыми глазами, призывно приоткрыв губы.

Хотя вообще-то и противно не было – просто не думалось о ней ни одной минуты. Не хотелось.

Пока Юра стоял под душем, пока растирался большим махровым полотенцем, чайник уже щелкнул, закипев. Чайник подарили в больнице к тридцатилетию, и он оказался лучшим подарком: отключался самостоятельно, долго не остывал – в общем, не заставлял о себе думать.

На экране телевизора пролистывались залы Третьяковки, бархатный женский голос рассказывал о Врубеле, Царевна Лебедь знакомо манила тревожными глазами. Юра насыпал чай в маленький заварник и, ожидая, пока настоится, жевал бутерброд, машинально переключая кнопки на пульте. Всюду было одно и то же: зимние виды московских бульваров, пестрые осенние сахалинские сопки, детишки со скрипками… Вчерашний московский день еще не успел их догнать.

Юра собирался поспать, но чай заварил как всегда – до густоты темный, как деготь. Мама называла его уголовным чифирем и даже говорила, что пить такой – самоубийство. Но не запрещала заваривать ни разу, даже когда Юра был мальчишкой. Мама вообще ничего никому не запрещала, даже Еве с Полинкой, а уж тем более ему или папе. Но то, о чем она просила, все они выполняли беспрекословно и без лишних расспросов. Вот она уж точно была по-настоящему загадочной женщиной, Юра с самого детства это знал.

А «уголовный чифирь» после работы почему-то не бодрил, а, наоборот – успокаивал. Юра налил чай в большую синюю чашку; полустертый медвежонок на дне скрылся под темной заваркой. Эта чашка была немногим моложе его: бабушка Миля подарила внуку к пятилетнему

юбилею и сказала, что надо выпивать все молоко до капли, иначе медвежонок на дне захлебнется. Чашка была огромная, чуть не целая бутылка молока в нее помещалась. Юрка давился, но выпивал до капли: жалко было медвежонка.

Он и теперь улыбнулся, вспомнив об этом. Чашка с медвежонком была едва ли не единственной домашней вещью, которую он привез сюда, на Сахалин. Все остальное – не хотелось.

Правда, и чашку он забыл сначала, когда уезжал три года назад. Теперь он понимал: его тогдашний отъезд напоминал побег, поэтому ничего удивительного, что было не до подробностей. Только в первый и единственный свой приезд домой он забрал синюю чашку.

Теперь она стояла на столе, прозрачный пар струился над нею, и Юра чувствовал себя дома, глядя на этот пар.

Последний раз пробежавшись по программам, он выключил телевизор и разложил диван. Диван он всегда раскладывал, хотя спал обычно один, и постель всегда была свежей. Дома все с детства посмеивались над его маниакальной чистоплотностью, а потом, когда он вырос, удивлялись: как это Юрочка при такой любви к чистоте работает хирургом – ведь кровь, гной!.. И как он, привыкший душ принимать утром и вечером, чувствует себя в неприспособленных для жизни местах, по которым носит его судьба?

Он надеялся мгновенно отключиться после бессонной ночи, но вместо ожидаемого покоя совсем другое, странное состояние охватило его. Полусон-полуявь, как на легкой невидимой лодочке, и реальность – вот он лежит в полумраке сахалинского осеннего утра на своем диване – сплетается с воспоминаниями.

Глава 2

Мамин день рожденья был в сентябре, десятого, но отмечать она решила семнадцатого августа, заодно с Юркиными проводами.

– Мам, да нельзя же, кажется, заранее, – вспомнил было Юра.

– Ерунда. – Мама улыбнулась и провела ладонью по его носу. – Глупые приметы, если не верить, то ничего и не будет плохого. Ты уезжаешь, это важнее.

Юра как раз, наоборот, склонен был верить в приметы и даже лыжные ботинки всегда зашнуровывал особенным «счастливым» способом. Но маме ведь все приметы заменяет интуиция, и, значит, что для Юры приметы, то для нее – пустяки. Поэтому он перестал думать о пустяках и даже обрадовался празднику, который в честь него устраивался.

Тем более что и отец завтра улетал в свою первую загранкомандировку, к тому же в Америку, а для него, со студенческих лет занимавшегося засекреченными ядерными объектами, это было важным событием.

Отмечали, конечно, на даче в Кратове, и от этого ощущение праздника только усиливалось. Юра любил кратовскую дачу – бревенчатый домик с потемневшей от времени дощатой верандой, семь старых сосен, каждая из которых гудела под ветром как струна, и каждая своим особенным голосом.

Это Ева ему сказала про сосновые голоса, еще когда они были маленькие; сам-то он, конечно, и не расслышал бы.

Зато он родился прямо здесь, в Кратове. Это отдельная семейная история была, Юркино рожденье! Он лет с пяти помнил бесчисленные, для всех новых и старых друзей и знакомых, бабушкины рассказы. Как Валя был еще в больнице, а она приехала вечером забрать невестку с дачи, а та сидит под сосной, держится за живот и, по всему видно, вот-вот родит. И как бабушка растерялась, конечно, но все-таки сообразила, что везти Надю куда-то уже нет смысла. Куда везти в белый свет, когда они не знают даже, есть ли поблизости больница! И как ей пришлось самой принимать роды, счастье, что все прошло хорошо, Юрочка родился ну просто в полчаса, так легко, прямо, ей-Богу, как котенок, а глазки у него сразу были точно бабушкины, чистый кобальт, акушерка прибежала из деревни с фельдшерского пункта, даже она тут же заметила…

В общем, Юрочка сразу был бабушкин внук, и каждый день, прожитый отдельно от него – например, в одной из частых своих поездок на заграничные кинофестивали и конференции, – Эмилия Яковлевна считала не совсем полноценным.

Бабушка Миля умерла семь лет назад, и воспоминания о ней давно уже стали для Юры спокойными, без боли ясными. Но вспоминал он ее всегда, приезжая в Кратово, – как будто здоровался.

Августовской ночью звезды падали с неба, как шальные. Даже не верилось, что в каком-нибудь часе езды от Москвы небо такое темное и глубокое и так хорошо виден этот звездный ливень.

Юра сидел на крыльце и смотрел на небо в просветах сосновых веток. Голова у него слегка гудела от выпитого, но водка была мягкая, настоянная на ореховых перегородках по армянскому рецепту, и хмель от нее был легкий.

Скрипнула дверь, он услышал в темноте Евины шаги на веранде, у себя за спиной.

– Ты куда? – спросил он, не оборачиваясь, и подвинулся, чтобы сестра могла спуститься с веранды.

– Я скатерть хочу убрать, – ответила Ева, но не спустилась с крыльца, а села ступенькой выше у него за спиной. – Забыли скатерть. Ты почему спать не идешь, Юрочка?

Скатерть белела на столе, вкопанном в саду под яблоней.

– Да, скатерть, – сказал Юра. – А я и не заметил. Принести?

– Не надо, – покачала головой Ева. – А зачем тебе это замечать?

Она положила голову ему на плечо, и Юра почувствовал, как легкая прядь ее волос, выбившись из низко сколотого узла, коснулась его щеки. Он всегда узнавал Еву по шагам, по голосу, но больше всего – по чему-то необъяснимому, похожему на жалость, что он чувствовал при ее появлении, как укол в сердце.

Ева была на два года его старше, но Юра никогда не воспринимал ее как старшую сестру. Не из-за того, что она казалась ему маленькой, а вот именно из-за этого странного, пронзительного чувства, связанного с нею.

– Ты ведь тоже не спишь, почему же спрашиваешь? – Он улыбнулся в темноте, с опозданием отвечая на ее вопрос. – Выпил, не спится. Я покурю?

Юра знал, что у Евы от дыма болит голова, но покурить очень хотелось, и не хотелось, чтобы она уходила. Он скучал о ней на Сахалине, о ней больше всех…

– Если бы ты не уезжал!.. – как будто подслушав его мысли, сказала Ева. – Ты что смеешься? – тут же заметила она.

– Ухо щекотно. Дышишь щекотно. Теперь уже нельзя не уезжать, рыбка. Уже работа…

Он выдохнул в сторону, отогнал дым рукой. Золотой рыбкой все они звали Еву с детства, хотя она и считала, что ей это домашнее прозвище совсем не подходит. Может быть, оно и прижилось просто из-за дня ее рождения – десятого марта, под знаком Рыб. А ученики – те за глаза звали свою учительницу литературы Капитанской Дочкой. Конечно, в основном просто из-за фамилии, но школьное прозвище, как Юра думал, подходило ей больше, чем домашнее.

– А если бы не работа? – Скосив глаза, Юра увидел, что Ева смотрит вопросительно, не поднимая головы от его плеча. – Тебе… уже легче там, Юрочка?

Юра понимал, о чем она хочет спросить и не решается. Забыл ли он Сону, забыл ли все, от чего бежал и от чего убежать вообще-то невозможно? Сестра лучше других это понимает, да и сам он… Вместо ответа он погладил Еву по голове.

– Ты-то как, рыбка моя золотая? – спросил он. – Все с этим со своим?..

– Наверное.

Ева подняла голову с его плеча. Она сидела рядом, но чуть-чуть позади, и лицо ее было скрыто в темноте.

– Что значит – наверное? – удивился Юра. – Ты что, сама точно не знаешь?

Знакомая ясная злость охватила его, как только он вспомнил о Евином любовнике. Это было очень простое чувство, без нюансов, которое, правда, приходилось сдерживать.

– Точно не знаю, – подтвердила Ева. – Иногда мне кажется, что с ним, иногда – что одна… Но это не от меня зависит.

– Зачем тебе… все это? – помолчав, спросил Юра.

– Ты его не любишь, я знаю. – Ева улыбнулась, как будто уговаривала ребенка. – Мне трудно объяснить, Юрочка…

– Почему трудно? – Юра уже рассердился – не на нее, а непонятно на кого, на себя, наверное, и поэтому не мог остановиться. – Слов у тебя не хватает? Это-то и странно!

– Не слов не хватает, а вот потому, что ты его не любишь, – по-прежнему улыбаясь, сказала Ева. – А просто так – как объяснить? Я не могу говорить о нем как о постороннем, понимаешь? Этого нельзя объяснить – как я его люблю, а без этого ничего не понятно… У меня с ним не просто физическая связь, а такая, что если она разорвется, то у меня и сердце разорвется. И что тут объяснять?

Объяснять тут и в самом деле было нечего, да Юра и не ждал от сестры никаких объяснений. Самому ему все было ясно еще с тех пор, как он три года назад впервые увидел историка Дениса Баташова.

У сестры был день рожденья, и она наконец пригласила этого своего нового возлюбленного – вернее, первого возлюбленного, потому что к двадцати семи ее тогдашним годам мужчина появился в ее жизни впервые… Мама волновалась, отец ее успокаивал, говорил, что Ева просто не могла бы полюбить плохого человека, а Юра на всякий случай старался вообще ничего не предполагать заранее, чтобы не настраиваться на худшее.

И, как он сразу понял, не напрасно. Конечно, трудно было за пару часов разобрать, хороший ли человек Денис Баташов. Может, и ничего: симпатичный парень, с открытым лицом, на гитаре играет, поет, смешит Евиных подружек… Но как он относится к Еве – это Юра понял через пять минут после того как, опоздав с работы к началу праздника, вошел в комнату.

Во взгляде Дениса была та снисходительность, которую невозможно не заметить в глазах мужчины, когда его чувства не совпадают с чувствами влюбленной в него женщины.

«Ты меня любишь, – спокойно говорили эти серые красивые глаза. – Что ж, люби, я не против. Но только, пожалуйста, без претензий: я этого, знаешь, не выношу. У меня жизнь и так не скучная, ну, если ты так хочешь, что ж, найду и для тебя местечко…»

Юра сто раз видел эти взгляды разных мужиков, обращенные на разных женщин, и в общем-то не обращал на них особенного внимания. Но елки-палки, почему ж именно Еве достался такой хлыщ, других нету, что ли?!

Но что толку говорить? Юра видел, как в Евиных светлых, с глубокой поволокой глазах вздрагивает и трепещет такое сильное, такое неостановимое чувство, что посторонние слова не нужны, даже если это слова любимого брата. И зачем тогда их произносить, лишний раз надрывать ей сердце?

Так же невозможно было поговорить с этим чертовым Денисом. Скорее всего, он вообще прекратил бы всякие отношения с Евой после дурацкого «мужского разговора». По всему видать, она была для него не той редкой драгоценностью, ради которой он стал бы наживать себе неприятности.

А поговорить, конечно, хотелось, и еще как! Юра просто видеть не мог, как Ева ждет звонка – всегда ждет, никогда не звонит сама, – как начинает метаться, если этот гад дает отмашку, что, мол, готов с нею встретиться, и она звонит в школу, договаривается с завучем… А у возлюбленного, значит, выходной, раз зовет в будний день с утра. Ну да, у них же гимназия, у учителей бывают какие-то не то методические, не то библиотечные дни…

И встречались-то они каждый раз в бабушкиной квартире – здесь же, в их писательском доме на Черняховского, в соседнем подъезде; Денис не утруждал себя поиском помещения. Это Юра точно знал, потому что квартира была теперь его, и, хотя он по-прежнему жил с родителями, Ева каждый раз спрашивала у него разрешения взять ключ. Пока, не выдержав, он не сказал, чтобы она не задавала глупых вопросов.

Брат мог защищать ее в детстве от дворовых и дачных мальчишек, но детство кончилось, и перед Денисом Баташовым Ева была теперь беззащитна окончательно и бесповоротно. Беззащитность была у нее в сердце, и оно готово было разорваться, если разорвется эта унизительная и безысходная связь.

Тогда, на дне рожденья, Юра сразу заметил, что мама воспринимает Дениса точно так же, как и он. И то, что Надя никак не выразила своих чувств – ни вслух, ни даже обращенным к дочери взглядом, – только подтверждало, что вмешиваться не надо.

Умением владеть собою Юрка вообще был в маму. Вот бабушка Миля – та никогда своих чувств не сдерживала.

– А почему это я дипломатничать должна! – даже возмущалась она. – Инсульт наживать?

В этом смысле на нее, конечно, больше всех была похожа Полинка. Вот уж кому на язычок не стоило попадаться чуть не с тех пор, как она только научилась говорить!

– Как ты там живешь, Юрочка? – спросила Ева. – Ты нам совсем ничего не рассказал…

– Почему? – Он попытался изобразить удивление. – Я же рассказывал: работы много, люди хорошие, все у меня нормально.

– Ты каким-то щитом закрываешься, – покачала головой Ева. – Нет, я понимаю, но от нас-то – зачем? Ты… все один живешь? – помолчав, спросила она.

– Слушай, а мы все, что ли, выпили? – вместо ответа поинтересовался Юра. – У папы там ничего в заначке не осталось, не знаешь?

– Почему в заначке? – улыбнулась Ева. – Еще одна бутылка есть, тоже ореховая. Только она, кажется, не настоялась еще, потому он и не доставал. Принести?

– Принеси, – кивнул Юра. – Ничего, что не настоялась, я выпью, а завтра свеженькой дольем.

Оказывается, бутылка стояла здесь же, в висячем шкафчике на веранде; жаль, он не знал, сразу достал бы потихоньку.

А шкафчик этот Юра сам когда-то делал вместе с отцом, лет в пятнадцать. Юрке не хотелось возиться с досками и гвоздями, но Валентин Юрьевич почему-то считал, что сын должен это уметь; пришлось научиться. Папа умел убеждать в своей правоте, хотя Юра и теперь не понимал, как ему это удается – как-то ненавязчиво, но твердо.

Шкафчик он тогда сделал – немного, правда, кривоватенький, – а потом еще и табуретку, ту уже поаккуратнее. Охоты к подобным занятиям он так и не приобрел, освоил их на минимальном уровне, но отец посчитал это достаточным и больше на тему домашних поделок не заговаривал. Табуретки покупались в магазине, и выбирала их мама или, когда подросла, Полинка.

Ева принесла и рюмку – большую, старую, похожую на колбу от песочных часов с золотым ободком посередине, чудом уцелевшую еще с бабушкиных довоенных лет.

– А себе? – спросил Юра, наливая в темноте водку.

– Ой, я не буду, ладно? – попросила Ева. – Я не могу, мне это хуже дыма, Юр, ты же знаешь.

– Знаю, – усмехнулся он. – Думал, вдруг научилась. Какая ты, Машенька, хорошая девочка! – писклявым голоском произнес он. – Не пьешь, не куришь…

– Не могу-у больше! – Она низким голосом подхватила старый школьный анекдот и засмеялась.

– Я и правда один, Ева.

Водка мягко вкатилась в голову, и Юра тут же почувствовал, что теперь ему легко ответить сестре. Правда, она не повторила вопроса, но не отвечать ей ему почему-то было стыдно.

– Но… как же так? – Теперь Ева сидела боком, двумя ступеньками ниже, и снизу заглядывала ему в глаза. – Почему же так, Юра? Это ведь даже, по-моему, как-то нехорошо для тебя, тебе же не восемьдесят лет…

– Какой знаток мужской физиологии нашелся! – хмыкнул он. – В восемьдесят, между прочим, тоже не все импотенты, Чарли Чаплин вон даже ребенка родил. Так что у меня есть перспективы! – Но, заметив, что сестра смутилась, Юра добавил: – Ну, рыбка, период гиперсексуальности тоже позади все-таки. На стенку не лезу! Просто… Уже не все равно ведь с кем, понимаешь?

– А раньше тебе разве все равно было? – удивленно спросила она.

Юра засмеялся, налил еще водки.

– Ну, допустим, и раньше не совсем было все равно. А теперь… – Он почувствовал, что лицо у него каменеет, как будто он говорит не с сестрой, а с посторонним человеком; впрочем, может, просто от водки. – Теперь, знаешь, я и сам не могу понять…

– Это потому, что ты Сону забыть не можешь? – осторожно спросила Ева.

– Не знаю, – невесело усмехнулся он. – Может, и потому. Но я не думаю об этом так определенно. Не анализирую! Мне просто не хочется, Ева. То есть бывает, конечно, что и хочется,

нормальный же я мужик, но как-то… Могу и не, понимаешь? Обыкновенной усталости хватает, ночного дежурства, чтобы все это сбросить. Очень просто.

Говоря это, Юра понимал, что все равно не сможет рассказать сестре о том странном, никакой логикой не объяснимом оцепенении чувств, в котором живет последние годы. К тому же в таком объяснении невозможно было избежать дешевой сентиментальности и пошлого разговора о душе. А этого ему не хотелось даже с Евой, с которой разговор о душе вообще-то был бы гораздо более естественным, чем, например, с Геной Рачинским.

Невозможно было рассказать о физическом омерзении, которое он ощутил, проснувшись однажды после новогодней больничной гулянки в постели с какой-то женщиной. И как он долго пытался вспомнить ее имя, а оно все не вспоминалось, зато отлично помнилось, как вчера ехал с нею в такси и все тело гудело от бешеного, какого-то отдельного, на нее совсем не направленного желания, и хотелось только избавиться от него, и поскорее, поскорее… Юра никогда не напивался настолько, чтобы терять память, и поэтому особенно противно было, что не может вспомнить ее имя – знал, что не из-за пьянки же…

Чувство к этой случайной женщине – и не только к этой, а ко всем, которые так же случайно появлялись время от времени, – было сродни его обычной брезгливости. Ему не нравилось спать на несвежей постели и не нравилось спать со случайными женщинами, это было для него одно и то же. И что он должен был с собою поделать?

Хотя имена, конечно, обычно запоминал.

– Ты думаешь, что никогда уже не сможешь полюбить?

Ева спросила об этом с такой девической серьезностью, что он едва сдержал улыбку.

– Да я об этом вообще-то не думаю, рыбка. Мне об этом, к счастью, особенно-то некогда думать. «Нет, я не Байрон, я другой!» – Юра поднялся со ступенек и снова погладил сестру по русой голове, как ребенка. – И не Лермонтов, между прочим, так что не о чем переживать. Иди-ка ты спать! Хочешь выйти, проводить тебя?

Туалет стоял в самом дальнем конце участка, за кустами. Бабушка Миля всегда боялась ходить туда ночью, Юра, сколько себя помнил, всегда провожал ее в темноте, и она ужасно этим гордилась.

– Да нет, – покачала головой Ева. – Я думала Полинку дождаться. Где это она ходит до сих пор? Два часа уже.

Она каким-то необъяснимым образом умела определять время с точностью до минуты. В детстве Юрка даже спорил с мальчишками, что сестра скажет правильно, и никогда не проигрывал. А потом, когда выросла, Ева смеялась и говорила, что это ее единственное дарование.

– Я дождусь, – сказал Юра. – Все равно не спится. А это не она там хохочет, на пнях, что ли? – прислушался он к звонким в ночной тишине голосам.

«На пнях» обычно собиралась вечерами кратовская молодежь. То есть выкорчеванных с участков пней, как в Юрином детстве, там теперь почти что и не было, но какие-нибудь бревна лежали всегда.

– Кажется, она, – кивнула Ева. – Но все-таки поздно…

– Я дождусь, – повторил Юра. – Да и что с ней здесь сделается? Ну, схожу потом, если через полчаса не явится, – успокоил он. – Иди, Ева, иди.

– Не верится, что ты уедешь завтра… – сказала Ева, приподнимаясь на цыпочки и целуя его в висок. – Оставался бы, Юр?

Он не ответил, и, вздохнув, Ева поднялась по ступенькам. Скрипнула, закрываясь за нею, дверь в темноте.

Юра подошел к колючей ежевичной изгороди. Конечно, это Полинка смеялась где-то невдалеке: ее звонкий голос трудно было перепутать с другими.

Полинку нельзя было назвать поздним ребенком. Скорее это Ева родилась рано, да и Юра тоже: к рождению сына Наде было всего-то двадцать. Но разница в двенадцать лет – это все-

таки немало, и потому младшая сестра всегда была для Юры вот именно младшей, маленькой; он воспринимал ее совсем по-другому, чем Еву.

Правда, при этом Полинка никогда не производила на него того странного впечатления беззащитности, которым просто веяло от старшей сестры. Юра, может быть, не слишком внимательно присматривался к тому, как Полинка растет и взрослеет, но ему почему-то всегда казалось, что уж она-то умеет за себя постоять. За свое право делать что хочется, дружить с кем хочется и рисовать так, как хочется, а не как установлено и принято.

Странно, но даже рано открывшаяся Полинкина одаренность ни у кого не вызвала тревоги, которую всегда ведь вызывает у близких талантливый человек. Что-то было в этой рыжей черноглазой девочке такое, что само собою исключало мысли о том, будто у нее может не получиться, не сложиться… А почему – непонятно.

Правда, и мама была такая, поэтому удивляться, может быть, не стоило.

Прислушиваясь к Полинкиному смеху в темноте, Юра смотрел, как неостановимо падают звезды, коротко чиркают по глубокому небу.

Ежевичная изгородь была такая густая и высокая, что даже забор не был нужен: сквозь колючие сплетения веток и так не было видно, что делается на участке.

Вот так точно Юрка стоял за этой изгородью давным-давно, жарким летним днем лет двадцать назад, прислушиваясь к голосам родителей в саду. Только тогда он притаился, наоборот, снаружи, а мама с папой собирали ежевику и не замечали его.

– Чего ты боишься, Валя, я не понимаю. – Мамин голос звучал почти сердито. – Она большая девочка, двенадцать лет! Ты хочешь, чтобы сказал кто-нибудь другой, думаешь, это будет лучше?

– Никто ничего не скажет, – помолчав, ответил отец, и в его голосе Юрка с удивлением услышал растерянность. – Некому, да и… Надя, не может быть, чтобы кто-нибудь ей рассказал! Зачем?

– Зачем! – усмехнулась мама. – Да потому что сделал гадость – сердцу радость, правильно Эмилия Яковлевна говорит. Ева же тебя любит, ты ей отец, а не какой-то человек, которого она не видала никогда и не увидит!

– Как еще знать… – пробормотал папа. – А вдруг увидит?

– Не увидит, – помолчав, произнесла мама. – Не увидит, Валечка, неужели ты еще не понял? Его нет – ни для меня нет, ни тем более для нее. И что нам скрывать от нее, зачем нарываться на эти неловкости? Вчера…

– А никакой вчера и не было неловкости, – перебил отец. – Никакой, Надя! Марат всего лишь знает, что мы с тобой поженились, когда Ева уже была, больше ничего, и все то же самое знают. Мало ли почему мы могли пожениться, когда ребенок уже родился, одни мы так, что ли? Сплошь и рядом!

– Она же совсем не похожа… – медленно произнесла мама. – Хоть бы в меня уродилась! А так – и глаза, и волосы, и взгляд его…

– Зачем ты говоришь мне об этом? – Голос отца прозвучал глухо. – Я не хочу об этом думать, Надя, мне больно об этом думать, неужели ты не понимаешь?

Зашуршали ветки, Юрка расслышал звук поцелуя – легкого, маминого, который ни с чьим другим невозможно было перепутать. Юра любил, когда мама целовала его на ночь вот так, едва прикасаясь губами ко лбу; даже бабушка так не умела.

– Я не буду больше, Валечка, прости, – сказала она. – Я же вообще-то совсем об этом не думаю, правда! Просто не знаю даже, за кого больше вчера испугалась, за тебя или за нее. Ты так расстроился…

– Ну, расстроился, конечно, – согласился отец. – У тебя такое лицо сделалось, когда он в воспоминания ударился, а Ева же чуткая, все сразу замечает. Не будем об этом говорить, Наденька, ладно? Пусть все идет как идет.

– Пусть, – согласилась мама и тут же произнесла уже совсем другим, совершенно спокойным голосом: – А рубашку ты все-таки светлую надел, зачем, скажи, пожалуйста? Смотри, вся в пятнах, а ежевика не отстирывается, между прочим.

Юрка потихоньку отошел от ежевичной изгороди. У мамы глаз – алмаз, наверняка она разглядит его за кустами теперь, когда уже не поглощена разговором с папой. Но что значит этот разговор?!

Дядя Марат Сердобский приезжал в гости вчера, родители допоздна сидели с ним в саду, за вкопанным под яблоней дощатым столом, а Юрку с Евой отправили спать часов в одиннадцать. И что такого особенного было в их вечернем разговоре? Ну, дядя Марат вспоминал, как отлично жили они в Кратове, когда его родители еще снимали здесь дачу, жалел, что потом снимать перестали…

И тут Юра вспомнил ту «неловкость», о которой говорила мама!

Их тогда еще не прогнали спать, и они с Евой вовсю уплетали яблочный пирог, щедро посыпанный сахарной пудрой.

– Эх, Валька, повезло тебе! – сказал дядя Марат. – В смысле, с Надей. А я вот все не определюсь никак… Вы же сколько лет живете, одиннадцать почти что уже? Ну да, в апреле как раз Гагарин в космос полетел, а осенью вы поженились. Помнишь, Юрка еще в животе сидел, а Наде всю свадьбу желали космонавта родить? – подмигнул он.

– Помню, – улыбнулся отец. – Меня тогда из больницы на два дня жениться отпустили, и то только ввиду беременности невесты. Протез еще не сделали, на костылях прыгал, а ты наглым образом приглашал мою жену молодую танцевать!

– Ну так и сказал бы, – слегка смутился Марат. – Я б не приглашал…

– Да он не ревнивый, Маратик, – успокоила Надя. – Притворяется просто, чтобы я оценила, как он меня любит.

– Как это – когда Гагарин в космос полетел? – вдруг, оторвавшись от пирога, удивленно спросила Ева. – Так я же еще раньше родилась! Мне же баба Поля рассказывала, как мне годик был, она прямо со мной во двор выбежала, и все выбежали, все плакали, а я испугалась и тоже заплакала, хотя все ведь от радости!

Тогда Юра почти не заметил, каким бледным стало папино лицо и как мгновенно мелькнул мамин взгляд – на отца, на Еву…

– Но ты же тогда у бабы Поли и деда Паши в Чернигове жила, когда у нас свадьба была, – не больше секунды помедлив, сказала мама. – Мы же не могли тебя в Москву тогда взять, Евочка! Папа все время по больницам, бабушка Миля работала, мне за ним надо было ухаживать… Вот Юра родился, мы тогда и тебя забрали. Мама моя ни за что отдавать не хотела, – уже обращаясь к Марату, сказала Надя. – Мы с Валей еле настояли. Просто удивительно, как Ева не избаловалась там: все вокруг нее плясали.

Заговорили о том, что и Маратику пора бы наконец жениться, завести детей, потом про какие-то его химические науки и про докторскую диссертацию… Стало неинтересно, а вскоре их с Евой отправили спать, и Юрка тут же забыл о взрослом разговоре.

И вот теперь, сопоставляя оба эти разговора, вчерашний с дядей Маратом и сегодняшний родительский, Юрка понял, что они могли значить только одно: что Евиным отцом, выходит, был не папа, а какой-то совсем посторонний человек…

Это было так неожиданно, так невозможно, Юра совершенно не знал, как ему теперь себя вести! То есть не с Евой, конечно, она-то ничем для него не изменилась, об этом он даже не подумал, а с родителями – как? Делать вид, что он ничего не слышал и ничего не знает? Но папа сам говорил ему, что во многих случаях умолчание – то же вранье, а Юре совсем не хотелось

врать. И даже до завтра ждать не хотелось. Он просто не мог еще целый день выдерживать какую-то неясность, он должен был все знать до конца немедленно, сейчас!

Но, как назло, именно в этот день поговорить с отцом наедине было совершенно невозможно. Папа все время оказывался рядом с Евой. То объяснял ей что-то в книжке про Мэри Поппинс, которую она как раз читала, хотя что там объяснять, это ж просто сказка! То в дальнем углу сада учил ее раскладывать костер: Еве нравилось смотреть на огонь, и она очень хотела научиться разводить его не хуже папы и Юры.

Теперь, когда его снедала неожиданная тайна, Юрка замечал то, что раньше ему и в голову не пришло бы заметить. Например, что Ева и в самом деле не похожа на родителей. Ну, он сам, положим, тоже не очень похож ни на кого из них. Но глаза у него точно как у бабушки Мили, папиной мамы, невозможно перепутать – такие темно-синие, что даже почти черные.

«Девочке бы такие глазки!» – говорила мама, и Юрка сердился, потому что вовсе не считал свои глаза девчачьими, да и вообще не привык думать о таких вещах.

А у Евы глаза серые, светлые, но вместе с тем такие глубокие, что даже удивительно. И всегда какие-то печальные, даже когда она смеется. То есть, может, и не печальные, но Юрка тогда просто не знал, как по-другому назвать то, что трепетало в Евиных глазах… И волосы русые, тонкие и легкие как пух, хотя у мамы они каштановые и густые.

И в чертах Евиного лица совсем нету сходства ни с кем, просто удивительно, как это он раньше не замечал! Юрка даже специально сбегал в летнюю кухню, где мама готовила ужин, – чтобы сравнить. Ну конечно, у мамы все какое-то удлиненное: и нос, и карие глаза как будто подтянуты к вискам, и даже подбородок слегка выдается вперед. И все эти неправильности вместе до того выразительные, что раз глянешь – не забудешь.

А у папы… Тут Юрка увидел, что отец берет ведро, чтобы идти к колодцу, – и наконец один!

Он догнал отца в самом конце дачной улицы. Валентин Юрьевич шел небыстро, но почти не прихрамывая. Юра редко видел, чтобы отец ходил с палкой, только после дождя, когда мокрая глина становилась совсем уж скользкой. Он привык к этому и вообще забывал иногда, что у отца протез и что ходить ему на самом-то деле совсем не легко, даже и с палкой…

– Папа! – окликнул он. – Пап, подожди.

В руках у Юры тоже было ведро, потому он и догнал не сразу – пока искал…

– Что-то тебя сегодня целый день не видно, – сказал Валентин Юрьевич, дождавшись сына. – С Чешковыми бегаешь?

– Нет, – слегка покраснев, ответил Юра и все-таки добавил: – Сегодня с утра только, а потом нет!

Братья-близнецы Чешковы жили в деревне рядом с дачным поселком и относились к той категории детей, дружба с которыми считалась «нежелательной» для мальчиков из приличных семей. Юра даже догадывался почему, хотя и не смог бы, пожалуй, отчетливо сформулировать свои ощущения. Правда, его родители на эту тему не высказывались, но едва ли им нравилось Юркино общение с близнецами.

Даже не потому, что пятнадцатилетние Чешковы давно уже курили и не прочь были выпить, если откуда-то появлялись деньги, и что любили говорить «про девок» со всякими гнусными подробностями… А скорее всего потому, что им явно доставляло какое-то особенное, злорадное удовольствие втягивать в орбиту своей жизни других мальчишек – и главным образом вот этих самых, «приличных».

Отношения с Чешковыми, особенно с Сашкой, который был на три минуты старше Витьки, были отдельной и трудной стороной Юриной жизни. Он чувствовал себя кроликом перед удавом, когда смотрел в насмешливые, наглые Сашкины глаза…

Но сейчас он думал не об этом, и не об этом хотел поговорить с отцом.

– Пап, – сказал Юра, когда Валентин Юрьевич вытащил из колодца большую бадью и стал наливать воду в ведра, – я слышал, как вы с мамой сегодня разговаривали. Ну, когда ежевику собирали, – объяснил он. – Я случайно слышал, я просто мимо…

Рука у отца дрогнула, вода пролилась на траву. Он выпрямился, посмотрел на сына. Он смотрел чуть исподлобья, и можно было даже подумать, что сердито. Но он всегда так смотрел, просто взгляд у него был такой, немного исподлобья, и обычно это ничего не значило. Но сейчас… Его черные, как виноградины, слегка раскосые глаза устремлены были на Юру, а тот не мог понять, что значит этот взгляд.

– И что же ты слышал? – наконец произнес отец.

– Про Еву… Ну, что она… – Юра вдруг почувствовал растерянность: как же он назовет то, что услышал о сестре? – Что она раньше родилась, чем вы с мамой познакомились, – твердо закончил он.

– И что это для тебя значит? – помолчав, спросил отец.

Юрка не ожидал этого вопроса. А в самом деле – что?

– Да ничего вообще-то, – пожал он плечами. – Мне вообще-то все равно – раньше, позже… – Он сам не мог понять, не кривит ли душой. – А почему ты не хочешь, чтобы… она про это узнала? Ты же не хочешь, пап?

– Не хочу.

На этот раз Валентин Юрьевич молчал еще дольше, и голос его прозвучал так же глухо, как утром у ежевичной изгороди. Юре показалось даже, что он вообще не ответит.

– Но ты же сам говорил, что умолчание – почти всегда неправда? – настаивал Юрка. – Говорил же?

– Говорил.

Отец отвечал все так же отрывисто и все так же смотрел исподлобья, ничего не объясняя.

– Но… как же тогда? – растерянно спросил Юра.

– Давай от колодца отойдем? – предложил Валентин Юрьевич. – Во-он там на лавочке посидим, ладно?

Они присели на ничейную лавочку рядом с обветшалым, заколоченным и заросшим крапивой домом. Валентин Юрьевич смотрел не на сына, а перед собою, как будто вглядывался во что-то, никому не видимое.

– Это же и есть умолчание? – повторил Юрка. – Значит, ты ее обманываешь?

Ему показалось, что отец вздрогнул при этих словах. Но вопрос был уже задан, вылетело словечко-воробей, не поймаешь. Отец по-прежнему молчал, и Юре уже хотелось, чтобы не было этого разговора, да и того, утреннего, подслушанного за ежевикой, тоже не было бы…

– Я не знаю, – вдруг медленно произнес отец. – Я не знаю, может, я не прав, может, надо как-то иначе… Нет, знаю! – Голос его переменился и показался Юрке почти незнакомым из-за открытой страсти, которая была так неожиданна во всегда спокойном и немногословном отце. – Я знаю, что нельзя с Евой даже заговаривать об этом, вот и все. Без объяснений, Юра! – Отец больше не вглядывался куда-то перед собою, а смотрел прямо на сына. – Умолчание, не умолчание, правда, неправда… Это все неважно, понимаешь? Евино спокойствие дороже пустой правды. Ну ты представь. – Теперь Валентин Юрьевич говорил привычно спокойным тоном. – Ты только представь: вдруг мы объявляем ей, что она не моя дочка. То есть не совсем не моя, а вот вроде бы моя, но родилась не от меня, а когда-то… Как хочешь, Юра, я себе не представляю, как Еве нашей такое сказать! Да она ведь маленькая еще, наверное, и не понимает, что это такое: родилась от кого-то…

Валентин Юрьевич вдруг улыбнулся, бросил быстрый взгляд на сына. Юрке стало слегка не по себе. Наверно, отец догадывается, что он там выслушивает от Чешковых, если как о само собою разумеющемся говорит с ним о таких вещах, хотя он-то даже еще и младше Евы… Но что ж теперь притворяться?

– Да вообще-то… – пробормотал Юрка. – Конечно, не понимает…

– И не надо ей понимать, – уже совсем спокойно произнес отец. – И не надо ей понимать эти глупости, я не учитель биологии, чтобы ей объяснять. Она моя дочь, и все на том!

Юрке про «глупости» тоже объяснил отнюдь не учитель биологии, но он даже не улыбнулся отцовским словам. В них была правда, прямая и единственная, Юра почувствовал ее сразу и больше не думал ни про умолчание, ни про обман.

Отец и раньше никогда не притворялся перед ним, но все-таки сегодняшний разговор был необычен. Он говорил с Юрой совсем как со взрослым, как будто забыл, что перед ним десятилетний мальчик, сын. И только по этому необычному тону Юрка догадывался, как сильно папа взволнован – больше ни по чему нельзя было догадаться.

Отец тяжело поднялся с лавочки, сверху вниз посмотрел на сына – и наконец улыбнулся. Улыбка у него была удивительная: все тот же взгляд чуть исподлобья, и из него, из этого сурового взгляда, вдруг рождается улыбка и освещает все лицо… У Юры сердце замирало, когда он видел эту отцовскую улыбку, он даже сам не понимал почему.

– Пошли, пошли. – Папа слегка похлопал его по плечу. – Мы же ее любим, зачем нам с тобой об этом думать?

Он взял ведро и пошел по дорожке к дому.

– Пап! – позвал Юра.

Валентин Юрьевич обернулся.

– Ну, что еще?

– Пап… – Он помедлил, не решаясь спросить. – А я…

– Что – ты? – удивленно спросил отец.

– Ну, я… Я ведь уже… потом родился, да? Когда вы с мамой уже познакомились, да?

Этот вопрос тоже не давал ему покоя, и он должен был узнать наверняка! Юре все равно было, от кого же все-таки родилась Ева, как там все это происходило в том доисторическом времени, когда его еще не было на свете. Ева все равно была сестра, и папа сказал, что она его дочка, и этого было вполне достаточно. Остальное Юрки не касалось, остальное было то самое, что называют бабскими сплетнями и чем интересоваться – ниже мужского достоинства. Но вот это…

Юра злился на себя, что задал все-таки этот вопрос, но и не задать его не мог.

Валентин Юрьевич вгляделся в сердитое и расстроенное лицо сына и засмеялся.

– Видишь, – сказал он, притягивая Юрку к себе, – видишь, даже для тебя это было бы нелегко, хотя ты же мужчина. А представляешь, каково Еве было бы узнать? Конечно, ты уже потом, – успокоил он. – Ты у нас с мамой потом родился, когда мы уже вместе жили. То есть я по больницам в основном валялся, так что не очень-то и вместе, – улыбнулся он. – Нам, Юр, вообще тогда не до этого было – размышлять, кто от кого родился, – добавил отец. – И так трудностей хватало, незачем было дополнительные выдумывать.

Это Юра в свои десять лет уже знал. Бабушка Миля не раз рассказывала ему, как папа попал под машину, еще когда учился в Бауманском институте, и как нелегко ему было учиться ходить, а особенно привыкать к тому, что все теперь ему будет делать нелегко, на что другие и внимания не обращают. И работать на космодром Байконур он не смог поехать, хотя очень мечтал, тогда все мечтали про космос… Даже про фантомные боли Юрка знал, бабушка рассказывала ему все, никогда не считая его маленьким и не говоря, что он чего-нибудь не поймет.

А мама про все про это вообще никогда не говорила, и бабушка объяснила: «Это потому, Юрочка, что твоя мама – редкий человек, таких сильных женщин, как она, больше просто нет, и она умеет владеть собою, это не каждому дано».

Ну, а Ева уж точно не сильная женщина, хоть и мамина дочка. Она, наоборот, такая девочка, которую нужно защищать от всех и от всего, и спокойствие которой дороже, чем

пустая правда. Вообще-то Юра знал это и до разговора с отцом; папа только высказал ясными словами то, что он сам смутно и остро чувствовал.

Медленно, как плоские камешки в глубокую воду, одно за другим погружались в сон эти воспоминания – и давний разговор с отцом на лавочке у колодца, и августовский звездопад два года назад…

Прозрачный пар давно развеялся над большой синей чашкой. Юрий Валентинович Гринев, врач Дальневосточного отряда МЧС, наконец заснул на разложенном диване, в утреннем полумраке комнаты, на Сахалине, в общаге-малосемейке, в полном одиночестве.

Глава 3

Бывало много работы летом, из-за лесных пожаров.

Хватало работы весной, потому что обязательно уносило на льдинах рыбаков. Объясняй им, не объясняй, предупреждай по местному телевидению, не предупреждай – все равно толпы любителей подледного лова будут торчать со своими удочками на ноздреватом апрельском льду, пока он, проклятый, не растает совсем.

А к осени работы в отряде становилось, к счастью, поменьше. Если только искать кого-нибудь: осенью люди разбредались по лесам, собирали ягоды – боярышник и морошку, и лимонник, и плоды лианы актинидии, и еще папоротник на всю зиму, как корейцы. Но корейцы-то хотя бы не терялись в лесу, а остальные – сколько угодно.

На поисковые работы Юра обычно летал вместе со всеми, хотя числился в отряде врачом, а не спасателем. Но кто его знает, в каком состоянии находится человек после нескольких суток блуждания по тайге, каждый час может быть дорог. А у него был такой врачебный опыт, какого не было, пожалуй, ни у одного человека на всем Сахалине. После того что приходилось делать в Ленинакане и в Ткварчели, он мог бы, пожалуй, даже оперировать в лесу, не то что первую помощь оказывать.

Недавно трое суток искали двух пацанов. На вездеходах прочесали всю тайгу в таком радиусе, что туда и на вертолете не долететь, не то что мальчишкам пешком добраться. А заметили их случайно, все-таки с вертолета, почти у самого берега залива – хотя, кажется, сто раз здесь прошли.

Старший мальчик Митя сломал ногу и был уже без сознания, а второй, двенадцатилетний Витя, тащил его на себе, сам не зная куда, и к тому времени, когда их наконец нашли, не мог уже ни есть, ни даже говорить, только дрожал, как в лихорадке, от пережитого потрясения.

В вертолете, по дороге в больницу, Гринев поставил Мите капельницу, а Вите вколол успокоительное. И делал вид, что не обращает внимания на его слезы: чтобы мальчишка не стеснялся… Хотя тому, наверное, уже не до стеснения было.

В остальном же было спокойно. Путч в Москве кончился, обсудили его, обговорили и забыли: у людей своих проблем хватало.

Времена, когда Сахалин казался Гриневу какой-то землей обетованной, где все просто и ясно, – давно миновали. Да он теперь и вообще не искал ничего такого – никакой этой абстрактной ясности, за которую можно хвататься, как за соломинку. Особенно после Абхазии, о которой вообще не мог говорить и не любил вспоминать. Теперь он просто жил, работал как мог – как все и немножко больше – и не питал пустых иллюзий.

Дома он не был давно, два года обходился без отпуска, хотя тянуло, конечно, увидеть родных. Юра и сам не понимал, что же все-таки удерживает его от обыкновенной поездки домой. Иногда он с удивлением думал, что это его чувство похоже на страх… Но почему, но перед чем? Совершенно непонятно.

И вообще, да какой же страх! Он же в Абхазию слетал за это время, и неужели в сравнении с пережитым там можно было считать страхом то странное чувство, которое охватило его в Домодедове в тот день, когда он прилетел с Сахалина?..

Тогда, по дороге в Абхазию, Юра стоял в аэропорту посреди зала ожидания и как-то странно, замедленно думал: «Успею домой заскочить до самолета на Минводы?» Но тут Борька подбежал, заторопил: «Юра, какое «домой», нам еще во Внуково отсюда пилить, опоздаем на рейс, потом совсем застрянем, да туда ж теперь труднее попасть, чем когда-то в пляжный сезон, поехали, поехали, автобус стоит, телеграмму дашь потом своим, и хватит!»

Да и сам он так кстати вспомнил в эту минуту: выходной же, они наверняка на даче. И тут же почувствовал какое-то душевное облегчение: в самом деле, теперь не до того…

Так и получилось, что два года Гринев не был дома. И у него здесь никто еще не был. Он же сам собирался вот-вот приехать, но отпуск пропал из-за Абхазии, а потом Полинка поступала в Строгановское, и Юра категорически запретил маме срываться из Москвы. Ну что такое, в самом деле, все же у него в порядке, сам скоро явится, а за Полинкой глаз да глаз, как бы не выкинула какую-нибудь штучку, она это умеет…

Так он и жил здесь, как в плотном и спокойном коконе, и чувствовал, что все меньше хочет из него выбираться.

Гринев сидел в санчасти у пограничников и злился на всех и вся, а больше всего на собственную дурость. Потому что на чужую дурость какой же толк злиться? Все равно что на метель или туман. А на свою – имеет смысл, чтобы не наступать на грабли дважды.

Нынешние непростительные «грабли» заключались в том, что он на слово поверил местному фельдшеру, который и вызвал его на остров Монерон.

– Так-то вроде ничего! – доносилось из хрипящей телефонной трубки. – Так-то вроде не особенно, товарищ военврач! Пьяных же, сами знаете, Бог любит! Только ногу вот поломал и, кажется, ребро еще. Стонал, пока я ему промедол не вколол, теперь лежит ничего. Только надо бы вам самому глянуть, в больницу, видать, надо его… На катере вас хлопцы доставят в лучшем виде, никакого вам не будет беспокойства!

Какой он «товарищ военврач» и при чем здесь его беспокойство – ну, на это плевать. А вот на то, что не подняли сразу же вертолет, – на это уже не плевать, да еще как не плевать! Юра сам не понимал, как он мог пойматься на успокоительный тон дурака-фельдшера и на то, что «пьяных Бог любит», как он согласился добираться до острова пограничным катером? Может, даже просто поленился: погранзона, надо согласовывать полет, а промедол там есть – значит, человек не мучается от боли, ну, часом больше полежит на месте, шину наложили же ему, а потом доставим в ближайшую больницу, в Шебунино…

И вот теперь этот лишний час, пока долетит до острова вертолет МЧС, может стоить человеку жизни, и никакой Бог его больше не любит, хоть и спьяну он свалился со скалы.

Что дело тут пахнет керосином, Гринев понял сразу же, как только осмотрел пострадавшего, без сознания лежащего в санчасти. Конечно, и ноги переломаны, и ребра, и ушибы множественные, и черепно-мозговая травма наверняка – все признаки, только этот кретин мог не заметить с бодуна. И речи не может быть о поселковой больнице, срочно надо в Южный, в реанимацию, успеть бы только!

Не удержавшись, Юра даже матюкнул пожилого, с бугристым лицом, фельдшера.

– Так я ж… – испуганно бормотал тот, в сторонку дыша перегаром. – Кто ж знал, мы же тут… Я ж первую помощь оказал и позвонил сразу, как положено!

– Как положено! – ненавидя себя, пробормотал Гринев. – А объяснить все толком, описать картину – это нельзя было, что ли? «Ногу поломал»… Да там костей целых вообще нет, эмболия начнется у него, задохнется у нас на глазах – что тогда?

Это он уже прошептал, зло и быстро, отведя фельдшера к окну. Фельдшер молчал, глядя на Гринева испуганными, круглыми и мутными глазами и потирая небритый подбородок.

«Как они тут живут? – с тоской подумал Юра. – Вот этот похмельный фельдшер – он как живет, и смотритель этот с маяка, что спьяну со скалы свалился, и жена его несчастная?»

Жена смотрителя сидела рядом с неподвижно, в шинах и бинтах лежащим мужем и, плача, отирала холодный пот у него со лба.

– Вы последите пока, пожалуйста. – Юра подошел к женщине, и она подняла на него заплаканные, неожиданно ясно-голубые глаза. – Последите за капельницей, ладно? Если флакон, вот этот, наверху, кончится, – поставьте новый. Да вы не волнуйтесь, я здесь буду, – предупредил он ее испуганный вопрос. – На улицу выйду, посмотрю вертолет. Я же здесь буду,

рядом, вы меня сразу позовете, если вдруг что. Но с ним ничего плохого не случится, стрептокиназу с гепарином прокапаем, пока вертолет прилетит, и все будет в порядке!

Что-что, а говорить успокаивающим тоном Гринев умел, даже в куда худших обстоятельствах, и старался побольше упоминать непонятных названий, которые почему-то тоже действовали на людей успокаивающе. Да и какой врач этого не умеет? Любой студент предпоследнего курса мединститута… Вот если бы от его успокавающего тона вертолет прилетел скорее, или появился бы здесь реанимобиль, это да!

Домик пограничной санчасти стоял у самого берега; влажный морской ветер сразу ударил Юре в лицо. Волны, тяжелые и темные, глухо бились у скал в Татарском проливе, воздух даже в ранних сумерках казался промытым и ясным от бесчисленных соленых брызг.

За все время своей жизни на Сахалине Юра впервые попал на остров Монерон и жалел сейчас, что не удастся рассмотреть его как следует. А еще бы лучше – приехать сюда летом и поплавать вдоль скал, понырять с аквалангом. Говорят, гроты здесь немыслимой красоты, вода как слеза…

– Красотами нашими любуетесь, Юрий Валентиныч? – услышал он у себя за спиной и вздрогнул от неожиданности: настолько полным, глубоким было здешнее безлюдье и безмолвие, усиленное шумом волн.

Капитан пограничного катера незаметно подошел к нему и смотрел теперь такими внимательными, такими почему-то уважительными глазами, что Юре даже неловко сделалось. И отчество еще запомнил…

– Да, – кивнул он. – Больной ваш готов к транспортировке, вот-вот вертолет будет. Любуюсь пока.

Он словно оправдывал перед капитаном свой дурацкий промах с вертолетом, хотя тот ведь и не догадывался ни о чем.

– И правда, красиво у вас, – чтобы избежать неловкого молчания, произнес Юра. – Не скучаете здесь?

– Да нет, – пожал плечами капитан. – Привыкли, чего ж скучать. Я сам сахалинский, из Холмска, после училища погранвойск сюда вернулся, супруга курильская, с Шикотана у меня.

– Что же пьют-то у вас тогда? – хмыкнул Юра. – Раз, говорите, не скучают? Это надо так нажраться, чтоб со скалы лететь, как мешок с костями!

– Да я же за всех и не говорил, за себя только, – возразил капитан. – Конечно, кто и скучает, а от скуки как не поддать?

Видно было, что ему неинтересно говорить на эту тему: глаза стали скучные.

«Что это я, в самом деле? – устыдился Юра. – Волга впадает в Каспийское море?»

– Мы же работаем тут, не гуляем, – сказал капитан, и вдруг глаза его оживились, сверкнули в тени длинных ресниц. – А вообще-то, конечно… – словно размышляя, говорить ли, протянул он – и все-таки сказал: – А вообще-то, конечно, один только есть секрет, как никогда и нигде не скучать!

– Какой же? – удивился Юра. – Извините, вас как зовут? – спросил он. – Я, когда плыли, отчество ваше не расслышал…

– Костя меня зовут, Костя Береговой. Но это неважно! Так вот, секрет какой. – Он вопросительно посмотрел на Гринева, как будто проверяя, интересно ли тому слушать, не посмеется ли этот хмурый доктор над его заветным секретом. – Секрет простой – творчество!

Это было сказано с таким серьезным, таким тщательно сдерживаемым пафосом, что грех было бы улыбнуться. Юра и не улыбнулся, вглядываясь в смущенное лицо капитана Кости Берегового.

– Как же – творчество? – переспросил он. – Это что же, картины писать, музыку?

– Почему обязательно музыку? – пожал плечами Костя. – Для музыки слух нужен особый, а он не у каждого есть. И картины тоже – уметь надо, не каждый умеет. Хотя пацаночка

моя, между прочим, проявляет к этому делу талант! А самой пять лет всего. Но не обязательно ведь такое творчество, что учиться надо, вот я к чему веду! Творчество – оно же вообще… Я, например, сначала очень историей Сахалина увлекался. Монерон же наш – знаете? – в честь француза Монерона назван, который в кругосветной экспедиции Лаперуза участвовал еще в конце восемнадцатого века, первым увидел этот остров. Ну, и других много интересных сведений. И все-таки мне этого было мало! – Он снова бросил на Юру быстрый, проверяющий взгляд. – Мне, понимаете, мало было только узнавать, а хотелось обязательно самому… И тогда я взял и попробовал писать стихи. – Он помолчал. – Может, конечно, и ничего особенного, так себе стихи, хотя и в областной газете потом публиковали… Но для меня даже неважно было, хорошие они или плохие, на чужой взгляд, понимаете? Для меня то было важно, что со мной самим происходило, когда я их стал писать… Не курите, Юрий Валентинович? – спросил он.

– Курю, – кивнул Юра, доставая пачку «Мальборо» из кармана комбинезона и протягивая Береговому. – Только уж меня зовите тоже по имени.

– Ну, и меня тогда на «ты», – кивнул Костя, тоже доставая сигареты. – Так вот, я еще камешками увлекался. Агаты собирал на отмелях, сердолики, янтарь. У нас тут аметисты даже есть! Интересно очень их искать, многие собирают, знаете? – Юра кивнул. Поисками и шлифовкой полудрагоценных камешков действительно увлекалось множество людей на Сахалине, настоящие фанаты этого дела попадались. – Ну вот, а когда я стихи начал писать… Не поверите, даже с камешками все стало по-другому! Серый он сначала, мутный, а распилишь его – мама дорогая! Такой чистый срез, целый день можно рассматривать. Я, помню, про один агат подумал: как глаза у женщины, у очень красивой, необыкновенной такой и загадочной женщины, в которую ты, например, влюблен и век готов в ее глаза смотреть… А ведь весь же берег такими камнями усыпан! И как же тут стихи не написать? Ты сам-то ничего такого не пробовал? – неожиданно спросил он. – Рассказы, может?

– Нет, – наконец улыбнулся Юра. – А почему ты решил?

– Ну, Чехов же писал, а он тоже был доктор, и на Сахалин к нам тоже из Москвы приезжал.

– Нет, Костя, – по-прежнему улыбаясь, покачал головой Гринев. – И врач я тоже, и на Сахалин из Москвы приехал, но рассказов не пишу.

– Жалко, – сочувственно заметил Костя. – Но, с другой стороны, у тебя работа такая – не смотритель на маяке, сильно-то не заскучаешь. Летит, – прислушался он – казалось, к шуму волн. – Собирайся, Юра, сейчас садиться будет. Как Егорыч наш, скоро оклемается?

– Не скоро, – ответил Гринев уже на ходу. – Довезти бы его поскорее. Пока-то он ничего, но все может быть. Время дорого! – Остановившись на минуту, он достал из кармана «Мальборо», шариковую ручку и записал на сигаретной пачке номер телефона. – Ты в Южном бываешь, Костя? Звони, как будешь. Хочется стихи твои почитать, если дашь.

Теперь и он слышал гул вертолета, а вскоре и увидел его в низком небе над проливом.

В полумраке кабины постанывал, придя в сознание, смотритель маяка Егорыч, тихо всхлипывала его жена Тася.

Юра смотрел в тускловатый иллюминатор, как уменьшается, падает вниз одинокий остров Монерон, все берега которого усыпаны агатами, похожими на глаза любимой женщины.

Глава 4

Ни за что он не отказался бы от ночных дежурств в больнице.

Заведовать отделением – это, в конце концов, и не обязательно, без этого начальственного поста вполне можно обойтись. Но не стоять у стола в операционной, не чувствовать в себе той особенной собранности, которая только там и бывает, – от этого отказаться было бы невозможно.

Да и необходимости не было отказываться. Семь ночей в месяц – вот уже и ставка дежуранта, а семь ночей в месяц от отряда оторвать нетрудно, не один он там врач. А других дел, от которых надо было бы отрываться, у Гринева, собственно, и не было…

После пятничного дежурства он задержался утром, чтобы посмотреть своего давешнего Лазарева, которому неделю назад пришлось ампутировать голень. Рабочий с рыбозавода Лазарев врезался в дерево на мотоцикле ночью на проселочной дороге, долго лежал, пока доставили его в больницу, рана была вся в грязи и разлившемся бензине. Сразу было понятно, что ногу сохранить не удастся, и хорошо еще, если обойдется без осложнений.

У Лазарева всю неделю держалась температура, и Гринев хотел сам посмотреть, в чем дело.

В перевязочной работала не Люся, и это было хорошо. Плохо было, что перевязочная сестра, кажется, была та самая девочка из медучилища, о которой говорил Рачинский. Между высокой марлевой повязкой, закрывающей ее рот и нос, и низко надвинутой на лоб круглой шапочкой блестели большие, черные, восточного разреза глаза. Выражение полускрытого лица определить было невозможно, но сестричка была крошечная, даже не очень высокому Юре по плечо, смотрела на него снизу вверх, и поэтому казалось, что смотрит она благоговейно.

– Давно работаете? – вздохнув, поинтересовался Гринев.

– Месяц, – прошелестело из-под повязки. – Вернее, месяц и одну неделю.

– Юрий Валентинович Гринев, – спохватился он. – А вы?

– Оля. Оля Ким. А я догадалась, что это вы.

– Что ж, давайте работать, догадливая Оля Ким, – сказал Юра. – Вы Лазарева из пятой палаты перевязывали уже?

– У которого нога ампутирована? Да, – кивнула Оля. – Уже два раза. Он очень беспокойный и все время матом ругается во время перевязки.

– Ну, мы ему сегодня не разрешим при девушке матом ругаться, – не удержался от улыбки Гринев.

– Почему? – смутилась Оля. – Пусть ругается, если ему так легче. Ему же больно… А мне, знаете, Юрий Валентинович, можно считать, это все равно – что он матом.

– Почему? – удивился Гринев.

– Потому что… Потому что я же кореянка, и русский все-таки не родной язык, понимаете? – таким же смущенным голосом объяснила она. – Я эти слова довольно безразлично воспринимаю, и они меня по-настоящему не смущают.

– Надо же! – снова удивился Юра. – Я об этом как-то не думал. Но вы же хорошо по-русски говорите, даже без акцента.

Акцент, пожалуй, все-таки был, но такой легкий, едва ощутимый, что казался просто интонацией ее тихого голоса.

– Это неважно. – Оля покачала головой, по-прежнему глядя на него снизу вверх длинными черными глазами. – Все равно не родной язык, нельзя смутиться по-настоящему.

– Ну, тогда вы меня по-корейски научите матом ругаться. – Юра почувствовал, что ему становится весело. – Буду вас смущать по-настоящему!

– А по-корейски ничего такого нету. – Глаза ее улыбнулись. – У нас все корейцы по-русски ругаются, только, по-моему, не получают от этого настоящего удовольствия.

Юра засмеялся было ее словам, но тут сестра привезла на каталке Лазарева.

Он был небритый, сонный, со злой тоской в лихорадочно поблескивающих глазах.

– Опять шмакодявка эта? – возмутился он, заметив Олю. – Это что, так положено теперь – на живых людях тренироваться?

– Меньше глупостей болтай – скорее выздоровеешь. – Гринев разрезал бинты и осторожно снял их с лазаревской голени. – Сегодня я тебя перевяжу, не скандаль.

– Это зачем еще? – испуганно пробормотал Лазарев. – Опять резать хочешь?

– Мечтаю! Сплю и вижу, как бы тебя порезать, – хмыкнул Юра.

Как он и предполагал, под кожей у самой раны образовался глубокий «карман», полный гноя. Нет, но Гена хорош! Просил же последить…

– Вот она температурка-то где, Оля, сюда посмотри, – сказал Гринев; зонд блеснул в его пальцах, вошел в «карман». – Вот такое как только видишь во время перевязки, сразу зовешь врача, поняла?

Лазарев заорал так, что Оля вздрогнула. Не обращая внимания на его крики, Гринев быстро вычищал гной.

– Ну, чего ты кричишь? – приговаривал он при этом. – Чего орешь, обезболивающее укололи же тебе? Не так уж и больно, потерпи, потом зато все хорошо будет.

– Сука, мать твою! – кричал Лазарев. – Гад, садист, что ж ты делаешь, а?! Сам на своих двоих стоишь, а мне ногу откромсал, и все мало тебе, еще терзаешь?!

Далее последовал такой поток мата, что даже на неродном языке, пожалуй, было бы слишком. Впрочем, на словесный поток Гринев внимания не обращал, закладывая в вычищенный «карман» тампоны, а вот когда Лазарев начал биться и дергаться, прижал его плечи к столу.

– А ну лежи тихо! – прикрикнул он. – Считаешь, мало тебе отрезали, повыше хочешь? Лежи спокойно, дай сестре работать! Перевязывай, Оля, – велел он. – Что ему назначено, не забыла?

– Я помню, – кивнула она, накладывая на рану марлевые подушечки с лекарством.

Пожалуй, хорошая перевязочная сестра могла из нее получиться очень скоро. Только теперь Юра заметил: пальцы у нее длинные, тонкие и двигаются так быстро, и прикасаются так легко, что даже Лазарев перестал орать, только скулил потихоньку.

– Как это все-таки несправедливо… – сказала Оля, когда дверь перевязочной закрылась за лазаревской каталкой.

– Что несправедливо? – не понял Гринев.

– Вот это – что он так себя ведет… Вы же ему жизнь спасли, хоть и пришлось ногу отнять, но это же по медицинским показаниям! А он вас так мерзко оскорбляет… Вам не обидно, Юрий Валентинович?

– Нет, Оленька, не обидно, – улыбнулся Юра. – Да у меня сердца бы живого не осталось, если б я на всех вздумал обижаться. И ты тоже привыкнешь, никуда не денешься. Ну, кричит мужик от боли невесть что, зачем внимание-то обращать?

– Не знаю, – покачала она головой. – Все-таки он мужчина, мог бы и потерпеть.

– Думаешь, мужчины терпеливее? – усмехнулся Юра. – Как раз наоборот… И терпения меньше, чем у женщин, и психика слабее. Мне, помню, один грозился: тебя убью, а потом сам из окна выкинусь, как, мол, буду жить без ноги? А уговорил я его спокойно подумать, от чего же это ему без ноги в жизни отказаться-то придется, – и выяснилось, что от футбола во дворе по воскресеньям…

– Но не все же такие?

Оля снова посмотрела на него этим своим взглядом снизу вверх; дрогнули черные ресницы.

– Не все. – Гринев помолчал секунду, следя за трепетом ее ресниц. – Разные бывают. Ну, счастливо поработать, Оленька. За «карманами» следи! – улыбнулся он на прощание, уже открывая дверь.

– Юрий Валентинович! – окликнула она. – А вы завтра на пикник с нами едете?

– На пикник? – удивился Юра и тут же вспомнил: точно, Гена напоминал еще с вечера, что травматология объединяется с ожоговым и едет в воскресенье в Охотское. – Не знаю, посмотрим, как сложится. – Но вообще-то завтра у него был выходной, и, со странным чувством глядя в Олины глаза, он добавил: – Если ничего непредвиденного, то поеду.

В поселке Охотское Юра бывал не раз: и по работе приходилось, и просто так, как в этот выходной. Здесь, у самого берега Охотского моря, было излюбленное место для пикников. И красиво, и добираться от города недалеко, часто ходит автобус. И ягоды можно собирать: морошки полно прямо у опушки.

Осень в этом году стояла на редкость теплая для Сахалина, даже в конце октября изредка еще мелькало солнце. Именно такой день с неярким, но ласковым солнцем и выпал на воскресенье.

В Москве такая погода бывала в бабье лето – в любимую Евину пору. Юра и вспомнил сестру, как только вышел из дому: ее радость от каких-то незаметных, только ею ощутимых переливов осеннего света, и от промытого как стекло воздуха, и от особенного чувства покоя, которое возникает в такие дни…

Впрочем, про покой он уже, кажется, сам домыслил: у всех ведь разное ощущение от такой погоды.

Но ему хорошо было в этот день – может, и правда просто из-за погоды. Он совсем расслабился, с удовольствием выпил заранее водки вместе со всеми, «чтоб веселее было дрова собирать», устанавливал мангалы так, чтобы ветер с моря не задувал огонь, и чувствовал во всем теле блаженную легкость, а в голове веселый ветерок.

Народу поехало не много, человек двадцать. То есть в комнате, может, показалось бы, что и много, но среди сопок, на морском берегу, компания выглядела совсем небольшой.

Юра давно не бывал на пикнике. Как-то не тянуло его на природу после работы в отряде, и отдыхать хотелось в чистой комнате, а никак не на сырой земле. Но сейчас он с удовольствием вытянулся на траве, благо синяя спасательская куртка была теплая и непромокаемая, и, прищурив глаза, подложив под голову руки, смотрел на разноцветные – желтые, багровые, зеленые – вершины осенних сопок в блекло-голубом небе.

И дорога, вьющаяся по тихой долине к сопкам, не пылила, и листы на деревьях если дрожали, то совсем чуть-чуть, и он отдыхал…

Женщины смеялись, нанизывая мясо на шампуры; потрескивали угли в мангалах; Гена Рачинский, тоже подхохатывая знаменитым своим неотразимым смехом, делал вид, что помогает дамам, а сам не упускал возможности приобнять то одну, то другую.

«Мне хорошо, – лениво, почти сквозь сон, думал Юра. – Мне хорошо, спокойно, и это солнце, и эта девочка Оля… Все хорошо!»

Оля Ким, вчера существовавшая только в виде черных длинных глаз и тихого голоса из-под марлевой повязки, сегодня оказалась вполне хорошенькой девушкой: маленькая, как все кореянки, с точеной фигуркой, с правильными и тонкими чертами смуглого лица.

«Снайперский у Генки глаз, – думал Юра, все так же, сквозь смеженные ресницы наблюдая за тем, как она вместе с остальными сестричками и докторшами нанизывает мясо на шампуры – быстро и ловко, как бисер на шелковые нити. – В самом деле, симпатичная. И глаза не померещились…»

Глаза у Оли действительно были такие точно, как он вчера разглядел в перевязочной: большие, удлиненные к вискам, и с этим трепетным выражением… Юра видел, что она часто

взглядывает на него – вскидывает на мгновение голову, отрываясь от своего занятия, и тут же снова склоняется над шампуром, или тянется к кастрюле с маринованным мясом, или вскакивает и бежит к мангалу относить готовый шашлык. А потом возвращается и снова поглядывает на него.

В одно из таких мгновений – когда Оля смотрела на него – Юра открыл глаза и быстро, пружинисто сел. Она смутилась, тут же отвела взгляд, а он улыбнулся. Ему было смешно – как будто он, взрослый, поймал маленькую Полинку, таскавшую из буфета конфеты, и та искренне уверена, что он недоволен.

– Все, хлопцы, закусить пора! – пригласила наконец Катерина Данильчук, ассистентка из ожогового – та самая, что неровно дышала к Гриневу и всегда справлялась о нем у Гены. – Шашлыки доходят, напитки и холодные закуски поданы!

Расстеленная на траве скатерть была уставлена мисочками с острыми корейскими закусками, которые покупались на рынке ко всем гулянкам и которые Юра очень любил, особенно под водку. От них слезы выступали на глазах – от пекинской капусты, жгучей моркови, папоротника со специями, по-особому приготовленных морских гребешков.

Было как раз то недолгое и приятное время любой коллективной пьянки, когда никто еще не осоловел, не обозлился неизвестно на что, никто не требует, чтобы все по очереди боролись на руках… Когда всем еще просто весело, с аппетитом поедаются шашлыки, все беззаботно смеются, бренчит гитара, Генка сыплет шутками и заигрывает со всеми девушками подряд, а не уговаривает одну какую-нибудь удалиться с ним в лесок.

Юра за то и не любил общие пьянки, что такое вот время кончалось слишком быстро.

Сегодня Рачинский явно «окучивал» Олю. Он все время садился рядом с нею, что-то шептал ей на ушко, отводя рукой ее недлинные, прямые и блестящие черные волосы, восклицал:

– Олечка, Олечка, что это ты села на уголок? Замуж, что ли, не хочешь?

– Пускай сидит! – сердито поглядывая на Рачинского, возражала его нынешняя главная пассия, процедурная сестра Люба Яровая. – Почему это – замуж не выйдет? И по-другому говорят: на углу сидеть – свой угол заиметь!

Но Генка уже обнимал Олю, притягивал к себе, как будто бы заставляя отодвинуться от угла скатерти. Юре неприятны были эти Генкины уверенные жесты – в общем-то ведь такие же, как всегда. И он чувствовал, что ему не из-за себя неприятно все это видеть, а вот именно из-за Оли.

Та смущалась, робко пыталась отстраниться от начальника, и тут же еще больше смущалась своих попыток – конечно, безуспешных.

К тому же оказалось, что она совсем не пьет – ни портвейна, который ей настойчиво предлагал Гена, ни тем более водки. И ей самой неловко было оттого, что она не выпивает в компании, как будто строит из себя не такую, как все, – это тоже чувствовалось.

– Я просто не могу, Геннадий Викторович, – отбивалась она от Генкиного угощенья. – Ну конечно, я вас очень уважаю, но я просто не привыкла к спиртному, честное слово, у меня и мама не пьет, и бабушка…

«Свинья Генка, – подумал Юра, прислушиваясь к Олиному голосу. – И Любка вся кипит, аж веснушки побелели, и этой не в радость».

Но не драться же с ним! Гена есть Гена, он со всеми такой, и девочка привыкнет к этому, как привыкнет к яростному мужскому мату во время перевязок. И это еще не худшее, к чему ей придется привыкнуть во взрослой жизни…

«Сколько ей лет, кстати? – подумал Юра. – Восемнадцать-то, пожалуй, есть, но вряд ли больше».

На вид казалось и того меньше.

– А что это там за народ на сопке? – заметила вдруг Катерина. – Гляньте, во-он те, у подножья у самого! Геологи, что ли – приборы у них…

– Ты, Катюша, прям как пограничник у нас, – захохотал Гена. – Бдительная! Шпиены, не иначе. – Он смешно выпучил глаза. – Олечка, хочешь шпиенов посмотреть? Пошли, пошлика, деточка, посмотрим с тобой шпиенов!

Рачинский быстро вскочил, потянул за руку Олю. Той невольно пришлось тоже встать, сделать несколько шагов вслед за шефом. Вдруг она обернулась и посмотрела прямо на Юру такими жалобными, испуганными глазами, что и покойник бы не выдержал.

– Пошли, Гена, – сказал он, тоже вставая. – Шпиены, не шпиены, а пройтись пора – растрясти жирок.

Генка слегка скривился: похоже, коллективный поход на сопку, по дороге к которой были укромные заросли шиповника, вовсе не входил в его планы. Но уже и Катерина двинулась вслед за ними, и решительно настроенная Любка. Остальные, правда, пожелали им успешного восхождения и остались сидеть у мангалов, на которых дожаривалась последняя порция шашлыков.

Сопка, у подножья которой Катерина заметила «шпиенов», казалась совсем близкой, но идти пришлось минут пятнадцать – далеко за кусты шиповника.

– Черт тебя понес, Юра! – на время забыв даже про Олю, ворчал Гена. – Дыхалка ж не работает после возлияний обильных! Так сидели хорошо, выпивали, закусывали…

Гринев только усмехался про себя. Его-то совсем не утомила дорога. Ни на шаг не отстававшая Катерина была куда утомительнее, особенно когда цеплялась за его руку, пьяновато похохатывала и прижималась щекой к плечу.

Ему и в самом деле интересно было посмотреть, чем это занимаются там люди в камуфляжных куртках, зачем полукругом расставляют они свои приборы на высоких треногах.

Распоряжался всеми действиями высокий бородатый человек в вязаной шапочке. Юра догадался об этом по привычке сразу определять главного в любой группе.

Бородатый стоял рядом со штативом, на котором было закреплено что-то похожее на подзорную трубу, и обеими руками крест-накрест махал другому человеку, забравшемуся на вершину сопки.

– В чем дело? – настороженно спросил он, заметив подвыпившую компанию. – Вам тут что-нибудь нужно?

– Ничего нам тут не нужно, – сердито отдуваясь, ответил Рачинский. – Дамочки наши инопланетян посмотреть хотят или хоть тарелочку завалящую. Покажите дамочкам, ради Христа, инопланетян на тарелочке, мы и отбудем восвояси!

– А мы инопланетян, собственно, не ожидаем, – совершенно серьезно ответил бородатый. – Мы из Владивостока, уфологическая экспедиция, аномальные явления здесь изучаем. Но инопланетяне – едва ли…

– О! – обрадовался отдышавшийся Гена. – Это я! Я – абсолютно аномальное явление! Вот и Любочка подтвердит, и Катюша. Правда, девочки? А Олечка – она еще не знает всей силы моей аномальности, она у нас еще молоденькая…

Не прислушиваясь больше к Генкиному трепу, Юра рассматривал уфологические приборы. В общем-то рассматривать было особенно нечего: действительно, подзорная труба, установленная на штативе между двумя большими зеркалами. Такие же трубы и зеркала были закреплены и на других штативах.

– И какие же аномальные явления вы здесь предполагаете? – спросил Юра главного уфолога.

Он постарался, чтобы ирония не была слышна в его голосе, но, кажется, это ему не совсем удалось, потому что бородатый взглянул недовольно.

Юрины институтские годы пришлись на время повального увлечения НЛО, экстрасенсами, какими-то полями и прочими сомнительными исследованиями, которые официально не поощрялись, но уже и не запрещались. А целительница Джуна, по слухам, даже лечила членов Политбюро.

Гринева раздражал бы весь этот идиотизм, если бы он вообще мог раздражаться из-за таких, ему посторонних, вещей.

– Между прочим, вы зря иронизируете, – заметил бородатый уфолог. – По этой местности имеется ряд наблюдений, которые подтверждаются экспериментально.

– А вы поставьте на мне эксперимент! – вмешался Гена. – Нет, ей-Богу, я согласен выступить в роли подопытного кролика! Покажите мне хоть одно аномальное явление, только чтобы я его своими глазами увидел, и я сразу поверю в тарелки, марсиан, во что хотите. Юр, поверим мы с тобой в марсиан, как считаешь?

– Между прочим, можете и в самом деле взглянуть, – по-прежнему глядя на Гринева, предложил уфолог. – Вот сюда, в трубу. Если, конечно, не боитесь.

– А что я там увижу? – поинтересовался Юра. – Чего я, по-вашему, должен бояться?

– Трудно сказать. Скорее всего, собственных ощущений…

– Это слишком субъективно, – усмехнулся Юра. – Боязнь собственных ощущений может возникнуть в любой житейской ситуации, для этого не обязательно смотреть в трубу.

– А вы взгляните, взгляните! – теперь уже сердито произнес уфолог. – Может быть, поймете, о чем я говорю.

– Давайте я посмотрю, – вдруг предложила Оля.

До сих пор она стояла совсем тихо – видимо, довольная, что отвлеченный марсианами начальник наконец оставил ее в покое. Но теперь в ее голосе Юре послышались какие-то самоотверженные нотки, и он удивленно взглянул на девочку.

Оля больше не поглядывала на него исподтишка, а прямо смотрела своими длинными глазами, и трепет ее ресниц показался ему счастливым…

«Да ведь она думает, что я боюсь! – вдруг догадался Юра. – Ну конечно, думает, что я боюсь заглянуть в эту дурацкую трубу, и предлагает проверить на ней!»

Это было так странно, так неожиданно и трогательно, что он ободряюще улыбнулся Олиным вздрагивающим ресницам и сказал уфологу:

– Так куда, говорите, надо смотреть?

– Во-он туда, – указал бородатый, – на вершину сопки, где шест установлен. И фиксируйте свои ощущения, мы их потом задокументируем.

Собственно, фиксировать было нечего. Пестрая сопка с шестом на вершине подрагивала сквозь бликующее стекло, расплывалась; сливались в одно разноцветные пятна осенних листьев, травы, пихт. Но уже через несколько секунд – или минут, Юра не понял – он почувствовал, что его манит к себе какое-то необъяснимое пространство, которое вдруг заменило собою реальную сопку…

Он почувствовал, что почему-то должен быть там – но где, но почему? Единое, таинственное, переливающееся нечто тянуло его к себе, и ему становилось легко, и хотелось только одного: отдаться этой непонятной тяге…

Но отдаться ей почему-то было невозможно, все в нем противилось собственному сильному влечению – и он отпрянул от окуляра, быстро потер ладонью глаза.

– Ну как? – спросил уфолог. – Видели что-нибудь?

– Да вроде ничего конкретного… – пробормотал Юра. – Переливалось вроде бы что-то… И тянуло! Так сильно тянуло, – смущенно улыбнувшись, сказал он. – Действительно, субъективные ощущения… Похоже на святочное гаданье. – Он улыбнулся уже спокойнее. – Мне сестра рассказывала, она даже курсовую писала по фольклору, когда в университете училась. Ряженый-суженый, приди ко мне ужинать, и глаза какие-то манят…

Кивая, бородатый быстро записывал в блокнот.

– А можно мне? – спросила Оля и сделала шаг к штативу с трубой. – Ну пожалуйста – можно?

– Да ради Бога, – разрешил уфолог. – Как видите, это не смертельно. Даже увлекает!

Оля привстала на цыпочки и приникла глазом к окуляру. Она смотрела туда совсем недолго, меньше минуты – и вдруг вскрикнула, отшатнулась, обвела всех каким-то растерянным взглядом, остановила его на Юре – и он увидел, как медленно бледнеет ее лицо. То есть оно, конечно, оставалось смуглым, но под этой густой, как загар, смуглотой кровь отлила от ее щек.

Прежде чем кто-нибудь успел понять, в чем дело, Оля медленно закрыла глаза и упала на спину, как подрубленное деревце.

Вскрикнула Катерина, Люба бросилась к неподвижно лежащей Оле, но Юра уже держал девочку под плечи, приподнимал ей ноги, искал ниточку пульса, едва заметно бьющуюся на тонкой шее…

– Господи, чего это с ней?! – воскликнула Катя. – Выпила, наверно, лишнее, а все Гена, ему лишь бы девку спутить!

– Да ничего страшного, обычный обморок, – сказал Юра, легко похлопывая Олю по щекам. – Может, и правда от вина, с непривычки-то. Любаша, куртку мою возьми, сверни ей под ноги. Да все в порядке, сейчас очнется.

– Ну и ну! – хмыкнул, потирая широкий затылок, Рачинский. – Вот тебе и молодежь, вот и наша смена! От стакана портвушки сознание теряет, что ж с ней в постели будет?

– А в постели с ней тебя, миленький, посадят за развращение несовершеннолетних, – сладким голосом произнесла Люба.

– Не посадят, не посадят, – усмехнулся Рачинский. – Восемнадцать есть уже, я лично в отделе кадров интересовался.

– А не посадят, так я тебе сама устрою – мало не покажется! – так же сладко пропела Любка. – «Пошли-ка, деточка, шпиенов смотреть!» – передразнила она. – Ох любишь ты, Генусик, свежачок, ох не доведет тебя это до добра!

– Да чего ты, Любаша, в самом деле, вцепилась в меня, как кобра? – отбрыкивался Гена. – Ну, пошутил с девочкой, я ж без всякой задней мысли!

– С передней мыслью зато, – съязвила Любка.

– Да она вон, смотри, от Валентиныча не отлипает, – кивнул Рачинский. – Так и прижимается! Очнулась, что ли, а, Юр?

Гринев стоял на коленях рядом с Олей и держал ее за руку, считая пульс. Действительно, ничего страшного, просто обморок – непонятно только, от чего.

Олины ресницы дрогнули, разомкнулись. И в то же мгновение Юра почувствовал, как дрогнула ее ладонь в его руке – и, как-то невозможно изогнувшись, коснулась его ладони, погладила робко и нежно. Он осторожно отпустил Олину руку.

– Лучше, Оленька? – спросил Юра. – Ну и хорошо! Что это ты?

– Голова закружилась, – тихо ответила она. – Там… Мне стало страшно, Юрий Валентинович…

– А что вы увидели? – с живым интересом спросил уфолог. – Вы запомнили, девушка?

– Я об этом не могу говорить. – Оля снова закрыла глаза и слабо покачала головой. – Мне и сейчас страшно…

– А голова сейчас как? – спросил Юра. – Затылком не сильно ударилась?

– По-моему, нет.

Чуть сморщив лоб, Оля безуспешно попыталась встать. Гринев подал ей согнутую руку, она схватилась за нее, поднялась и тут же отпустила его руку. Быстрое сожаление мелькнуло при этом в ее глазах так явно, что этого нельзя было не заметить.

Катерина тем временем заглядывала в уфологическую трубу.

– А я так и не вижу ничего, – разочарованно протянула она. – Чего это вы навыдумывали? Сопка – и все, только дрожит вроде. Может, стекло грязное!

– Ну, дамы, хватит, – решил Гена. – Развлеклись, и будя. Пока мы тут с вами марсиан изучаем, там небось и водку всю докушали, и шашлыки. Ольга, ты как, идти можешь?

– Могу, – кивнула она. – Извините, Геннадий Викторович, я сама не понимаю, как это получилось…

Она виновато смотрела на Рачинского, взгляд был туманный, и видно было, что голова у нее все еще кружится.

– Как, как… – поморщился Гена. – Ох и не люблю я это все: одна возня!

– А не приставай к детям! – не преминула вставить Люба, плотно беря под руку неверного своего любовника.

– Ну, пойдем тогда, Оля, – сказал Гринев, застегивая куртку и подавая ей руку. – Держись, держись, не дойдешь сама, – добавил он, заметив, что она медлит.

Оля осторожно вставила свою ладошку ему под локоть.

– Крепче держись, – велел Гринев, и она послушно сжала его руку.

На обратном пути все разомлели в автобусе, всех клонило ко сну.

– Называется отдых! – сердито ворчала Катерина. – Нажрались все, как сволочи, домой придут – спать завалятся бабам своим под бока!

– Кто своим, а кто, может, и чужим, – хитро хмыкнул Рачинский. – Ты как, Катюша, не против, если кто к чужим бабам завалится?

Любка ткнула его двумя пальцами под ребро, и он довольно засмеялся. Все-таки женская ревность приятна, добавляет уверенности в себе.

Юра стоял рядом с сидящей Олей и сверху смотрел на тоненький пробор, разделяющий ее волосы на два темных крыла. Она сидела неподвижно, как будто боялась пошевелиться, и он почему-то догадывался: это оттого, что она чувствует его взгляд. А ему приятнее было смотреть вниз, на ее голову, чем прямо – на пыльное стекло.

К вечеру погода все-таки испортилась, поднялся ветер. Когда уходили с берега, море уже подернулось темно-свинцовой рябью, совсем по-зимнему.

– Оля, ты где живешь? – спросил Гринев. – Проводить тебя?

– А я в вашем же общежитии живу. – Она наконец пошевелилась, подняла на него глаза. – Вы не знали разве, Юрий Валентинович? Только вы на шестом, где малосемейки, а я на третьем этаже, там всем медсестрам комнаты дают. Я же иногородняя, из Корсакова, – объяснила она.

– Не знал, конечно, – пожал он плечами. – Откуда мне знать, я туда только спать прихожу. Ну и хорошо, значит, доведу прямо до дверей.

Проводил он ее, правда, не до дверей, а только до лестничной площадки третьего этажа.

– Не надо, Юрий Валентинович, спасибо, – покачала головой Оля, когда он вышел было из лифта, чтобы дойти с нею до ее комнаты. – Вам и так со мной получилось беспокойство, вы идите домой, отдохните.

На этаже в честь воскресенья шла гулянка, слышен был мужской и женский хохот, звон бьющейся посуды, громкие пьяные голоса.

– Стесняешься, что девочки меня увидят? – усмехнулся Юра. – Не бойся, Оленька, им сейчас не до меня.

– Я – стесняюсь? – выдохнула она. – Я – вас стесняюсь?

Юре показалось, что она сейчас заплачет: так прозвучало это «вас». Ему стало неловко, как будто в самом деле обидел ребенка.

– Ну и хорошо, что не стесняешься. – Он успокаивающе коснулся пальцем ее плеча. – Ложись сейчас, поспи, если удастся. Ты одна в комнате живешь?

– Не одна, – ответила Оля. – Еще Ира из второй поликлиники. Но она вообще-то не всегда ночует, может быть, ее и сегодня нет… Я посплю, вы не волнуйтесь! – горячо заверила она, как будто он как врач назначал ей режим.

Невозможно было не улыбнуться ее словам – Юра и улыбнулся. Потом помахал ей рукой и, не дожидаясь лифта, стал подниматься по лестнице наверх.

Еще с вечера он убрал квартиру перед выходными, и теперь чистота усиливала тишину. Чайник закипел быстро – пока Юра раздевался, наливал воду в небольшую сидячую ванну. Он часто пил чай, сидя в горячей воде: распаривал себя сразу и изнутри, и снаружи; это было для него обычным делом.

Обычным делом было и все остальное: возвращаться вечером домой в одиночестве, предвкушая отдых, хорошую книгу, телевизор, если есть в программе что-нибудь неотвратительное. Необычным было что-то другое – какое-то именно сегодняшнее чувство.

И только когда распаренный, с потемневшими от воды волосами, вышел в махровом халате из ванной, – он наконец догадался, какое.

Сегодня он целый день провел с девушкой – именно провел день с Олей, хотя там и другие женщины были – и ни разу не сравнил ее с Соной. И это получилось настолько само собою, что он этого даже не заметил, и впервые подумал об этом только теперь, пытаясь понять, что же такое непривычное произошло с ним сегодня.

Он сравнивал с нею всех женщин, которые хотя бы ненадолго, хотя бы случайно оказывались рядом и обращали на него внимание. А внимание на него обращали едва ли не все женщины – так что он и сравнивал с Соной их всех. Даже, может быть, не их с нею сравнивал, а то чувство, которое они у него вызывали, с тем чувством, которое сразу вызвала у него Сона.

Невозможно было сравнить. Он уже знал, что невозможно, но сравнивал как-то незаметно для себя, почти инстинктивно, и сам уже был этому не рад.

И вдруг эта девушка, эта девочка со своими робкими ресницами, впервые не напомнила ему о Соне – и Юра удивился этому больше, чем удивился, когда впервые заметил седину у себя на виске.

Тогда, помнится, он чуть не ухом прижался к зеркалу и как-то по-мальчишески подумал: это что – у меня седина? Да она ж у старых бывает, неужели…

Вот и теперь он подумал похоже: неужели?..

Хотя ничего удивительного ведь нет в том, что у мужчины в тридцать лет появляется седина. У отца она появилась, кажется, еще раньше, это мама впервые подкрасила волосы едва ли не в пятьдесят.

И в том, что мужчина через три года после расставания перестает вспоминать бывшую жену, тоже нет ничего удивительного.

Но он удивился.

Глава 5

Гринев всего год работал в Склифе – ну, с интернатурой, можно считать, два, – а ему уже казалось, что он всегда жил такой жизнью, как теперь.

И это не было привычкой, которая, как известно, замена счастию. Просто он продолжал жить так, как ему хотелось жить, как он и должен был жить; в этом было все дело. Именно продолжал: Юрий Гринев не мог вспомнить ни одного дня из двадцати пяти своих лет, который прошел бы у него не так, как ему хотелось.

Может быть, все дело было просто в том, что ему вообще-то и не хотелось ничего такого особенного. Ну, хотелось, конечно, в Париж, или в Рим, или посмотреть нью-йоркский Бродвей, потому что бабушка Эмилия рассказывала о них очень уж увлекательно. Но в глубине души он понимал, что может… не то чтобы совсем отказаться от всего этого, но, во всяком случае, подождать.

А врачом ему хотелось быть всегда, сколько он себя помнил. И всегда было понятно, почему именно врачом, и именно травматологом; он знал об этом лет примерно с шести.

Конечно, из-за отца. С самого раннего детства Юра любил отца горячо, до дрожи в сердце, и всегда почему-то боялся, что это слишком очевидно для окружающих. Хотя что плохого, если и так? Папа такой человек, любить которого не стыдно. Даже невозможно его не любить.

Кажется, только бабушка Миля догадывалась о том, как Юрочка относится к своим чувствам. И она даже сказала ему об этом однажды, как будто бы мимоходом. Только много лет спустя Юра понял, что именно так, мимолетным тоном, бабушка говорила ему самые важные вещи…

– Ты напрасно так стараешься быть сдержанным, – сказала бабушка.

Юрке было тогда восемь лет, они с бабушкой только что вышли из «Детского мира», и он не очень понял, что значат ее слова.

– Как это, ба? – спросил он, не глядя на нее.

Да он даже и не расслышал толком ее слов, потому что думал в эту минуту только о железной машине. Юрке ужасно хотелось, чтобы бабушка купила огромную железную машину – совсем как настоящий самосвал, даже опрокидывается кузов, и грузи что хочешь, хоть большие кирпичи, мощная машина все выдержит.

Но самосвал Юра разглядел слишком поздно, уже по дороге к выходу, на первом этаже, где большие часы над круглым залом. И в руках у него уже была картонная коробка с конструктором… Он сам же и выбрал этот подарок, за которым бабушка повела его в «Детский мир» перед Днем Советской Армии.

Вообще-то Эмилия Яковлевна любила, чтобы подарок был сюрпризом. К Новому году, например, она ни за что не позволила бы детям самим выбирать себе подарки. Все должно было лежать под елочкой от Деда Мороза, хотя ни Юра, ни тем более папа с мамой в него уже не верили. Разве что Ева, с нее станется – в десять лет верить в такие глупости.

Но ко Дню Советской Армии – ладно, пусть мальчик выберет сам.

– Нашли праздник! – хмыкнула бабушка. – Какой-то сомнительный миф о победе большевиков под Нарвой. Вот они, плоды их победы… Ну, раз мужики придумали себе повод выпить, то у Юры тем более есть повод получить подарок.

И она повела его в «Детский мир», и он выбрал конструктор – точно такой, как у Игоря с соседней дачи…

И теперь, конечно, невозможно было просить самосвал: конструктор-то уже не вернешь обратно! Юра прекрасно помнил, как бабушка однажды перепутала размер туфель, и как орала продавщица, швыряла на прилавок коробки, сколько сил бабушка потратила на то, чтобы ее

переупрямить, даже капли ландышевые пила потом. А тут – просто передумали? Нет, невозможно!

Он шел хмурый и думал о том, что такого большого самосвала нет ни у одного мальчишки на даче. Он и сам не знал, что игрушечные машины бывают такие огромные.

Бабушка повторила:

– Нельзя так сдерживать свои чувства, Юра. Это не приведет ни к чему хорошему.

Юрка почувствовал, что сейчас заплачет. Но это было, конечно, совершенно невозможно.

– Я уже десять минут за тобой наблюдаю, – сказала бабушка. – Ты же хочешь, чтобы я купила этот дурацкий драндулет поносного цвета, Юрочка!

Она сказала так смешно, особенно про поносный цвет; невозможно было не улыбнуться! И посмотрела на внука сверху вниз темно-синими, как у него, глазами – высокая, красивая, совсем не старая, с пышной короной гнедых волос, сколотых какой-то особенной, как ракушка, заколкой.

– Видишь, сама говоришь – и цвет плохой… – пробормотал он, то ли улыбаясь, то ли сдерживая слезы. – И мы же уже конструктор купили…

– Плевать, – сказала бабушка. – Плевать на конструктор! Юрочка, да разве это стоит такого терпения? Ну скажи мне честно: ты же хочешь машину?

Он смотрел вниз, на залепленный мокрым снегом асфальт, и кивок получился совсем незаметный. Но бабушка, конечно, разглядела.

– И все! – воскликнула она. – Да ведь это такая малость, Юра! Ну сам подумай: кому будет плохо оттого, что ты получишь то, что хочешь? Совершенно никому! Пойдем.

Она взяла его за руку и повела обратно в магазин, к прилавку с машинами.

И тут, прямо у прилавка, он наконец не выдержал и заплакал. Он изо всех сил сдерживал всхлипы, но слезы сами собою катились по щекам, капали на синий вязаный шарф, на цигейковый воротник пальто…

– Ну, не плачь, деточка, не плачь! – принялась его утешать полная, пожилая продавщица. – Видишь, мама уже платит за машинку! Не плачь, глянь-ка, я уж и в коробку ее ложу, видишь?

Как будто дело было в машине! Он не мог больше сдерживать себя, что-то освободилось в нем, что-то рвалось из груди, неудержимое – и проливалось слезами.

Но чувства к отцу – как их было не сдерживать? Как могли проявиться восхищение, и благоговение, и любовь, и жалость, которые смешивались в Юриной душе, когда он видел, как папа затягивает утром эти жуткие, неудобные ремни на протезе, выходит из дому, идет через двор, стараясь не оскользнуться на раскатанных детьми ледяных дорожках?..

И почему, кстати, эти ремни такие жесткие, такие негнущиеся? Юра даже специально их рассматривал: хуже, чем хомут для лошади, которую конюх запрягал в Кратове! И сам протез – чугунный он, что ли? Неужели нельзя его сделать из легкого металла – как, например, самолет или ракету? Это же так просто, почему же?..

Однажды он спросил об этом у бабушки, и она ответила, усмехнувшись:

– А вот потому, что легкий металл весь пошел на ракеты. Которые, между прочим, проектирует твой папа… Но на него дефицитного металла уже не осталось. Такая страна, Юрочка, человеческая жизнь дешевле жалкой железки.

– Эмилия Яковлевна, зачем вы? – укоризненно заметила мама, оказавшаяся при этом разговоре. – Зачем ребенку…

– Ребенок должен это знать, – отрубила бабушка. – Тем более Юра. Он в этой стране живет и, скорее всего, будет жить. Ты что, хочешь, чтобы он сидел и ждал, пока это блядское государство позаботится о родных ему людях?

Что и говорить, бабушка Миля никогда не стеснялась прямо выражать свои чувства, даже если выражения для этого подходили только нецензурные!

В шесть лет Юрка знал, что врач, к которому папе то и дело приходится ложиться в клинику, называется травматолог. И знал, что сам будет травматологом, когда закончит школу, потом медицинский институт, – и вылечит папу раз и навсегда.

Родители восприняли это как нечто само собою разумеющееся. Он даже и не объяснял им свой выбор, просто сообщил о планах на будущее, когда пришло время идти в первый класс. Впрочем, так, сколько Юра себя помнил, воспринимались родителями любые его решения. Все домашние тревоги были сосредоточены на Еве, и это было справедливо: ее беззащитность слишком бросалась в глаза.

– Что ж, мы с Валей на больничной койке его сделали, – сказала мама бабушке Миле; Юра услышал ее слова случайно, заинтересовался подробностями, но постеснялся спросить. – Помните, Эмилия Яковлевна? Ничего удивительного, что Юрку тянет в медицину!

Маме тоже нельзя было отказать в прямоте, только ее прямота имела другую природу, чем бабушкина. Очень разные они были, его мама Надя и бабушка Миля – по рождению, воспитанию… Или наоборот – очень похожие? Как ни странно, Юра не мог разобраться.

Все и получилось как-то само собою. То есть он, конечно, занимался день и ночь, когда готовился в институт. Еще и к репетитору ходил, потому что химию в школе знал не блестяще, а профилирующим предметом в Первый мед была именно химия.

Юра даже с особенным старанием все это делал – главным образом потому, что бабушка «подстраховала» его на вступительных экзаменах через кого-то из своих бесчисленных знакомых. Внуку она, правда, об этом не сказала, но он сам услышал ее разговор с мамой – и, возмущенный, ворвался в кухню.

– Ну, что ты хочешь мне сказать? – поинтересовалась бабушка Миля, насмешливо глядя в его сердитое лицо и вкусно затягиваясь крепким сигаретным дымом. – Что у всех должны быть равные возможности?

– А хотя бы! – воскликнул Юра. – Мне же стыдно будет смотреть в глаза экзаменаторам, как ты не понимаешь!

– Ничего не стыдно, – спокойно заявила она, гася окурок. – Экзаменаторы тоже не с луны свалились. Занимайся, зубри и сдавай как все. Юра, – добавила она уже мягче, – все я знаю про справедливость, не надо меня воспитывать, мне не семнадцать лет. Может, в каком-нибудь идеальном обществе и надо все делать на общих основаниях, а наше немного по-другому устроено. И я не хочу, чтобы мой внук загремел в армию только потому, что председатель приемной комиссии захочет протолкнуть дочку начальницы своей жены. Понятно тебе? Побереги силы, Юрочка. – Она поднялась из-за стола, чмокнула его в щеку, как маленького, и он, как в детстве, машинально вытер щеку ладонью. – Ты хочешь быть врачом, ты будешь хорошим врачом – зачем тебе ненужные препятствия?

Но в Институт Склифосовского его все-таки распределили уже без блата, это Юра точно знал.

– Вы, Гринев, являете собою тот нечастый случай, когда желания полностью совпадают с возможностями, – сказал ему завкафедрой травматологии. – Я это понял, еще когда вы были на втором курсе, – и рад, что не ошибся.

Юра проводил все свободное время в институтской травматологической клинике именно со второго курса, когда у студентов еще даже не намечалось никакой специализации. Но он-то давно знал, чем будет заниматься, – чего ж ему было ждать?

Внешне Юра, правда, мало напоминал травматолога, каким его представляют испуганные люди: здоровенного мужика со свирепым лицом и огромными волосатыми лапами, кото-

рые ломают кости, как спички. Роста он был небольшого, лицо у него было не свирепое, а всего лишь несколько замкнутое, а сильные ли у него руки, с виду понять было невозможно.

«Хорошие руки», – сдержанно характеризовал их любимый преподаватель, профессор Шмельков, и это было для Юры самой большой похвалой. Да он и сам понимал, что уже сейчас многое чувствует руками и неплохо помогает ими голове – тоже, кстати, не пустой.

Но уметь надо было гораздо больше, чем он умел к окончанию института, и одного чутья было слишком мало для настоящей работы. Это Юра сразу же понял в Склифе, и это не стало для него большой неожиданностью.

Работы здесь было столько, что при желании можно было вообще переселиться в больницу, а желания работать у него было в избытке, и сил тоже хватало. Да он, можно сказать, и переселился. Ночные дежурства плавно переходили в рабочие дни, домой Юра приходил только спать, да и то не каждый день, и при этом, как ни странно, даже не чувствовал усталости.

И это было так понятно, так объяснимо! Правда, Юра едва ли стал бы объяснять кому-нибудь, какой счастливый холодок в груди чувствует в ту минуту, когда понимает: вот это он уже умеет, это уже подвластно его опыту, пусть небольшому, но твердому, прочно сидящему в голове и в руках…

И когда вдруг оказалось, что опыта у него явно недостаточно, – хотя бы в глазах облеченных властью людей, хотя бы просто потому, что работает он всего год, – это стало для Юры ощутимым ударом.

Он сидел в ординаторской второй травмы, пил жидкий теплый чай – сестра Люда вечно заваривала какое-то сено – и думал с тоскливой злостью: не пошлют, ни за что не пошлют…

Он думал об этом с той самой минуты, когда клинический ординатор Коля Клюквин заглянул прямо в перевязочную, где Юра возился с гипсом на ноге семнадцатилетней девочки Наташи, и быстро, взволнованно проговорил:

– Слышал, Юр?

– Что? – спросил Гринев, не оборачиваясь; Наташа морщилась, слезы стояли у нее в глазах.

– В Армении землетрясение, слышал? Сейчас по радио передали. Два города, сел несчетно… Говорят, дома прямо под землю ушли!

Колина тревога сразу передалась ему, но сейчас надо было сосредоточиться на распухшей Наташиной ноге.

– Я сейчас, – сказал Гринев. – Сейчас, иду уже, Коля. Все, Наталья, больше больно не будет, ножка твоя как в колыбельке. Вытирай слезы!

Радио в ординаторской не выключалось, но об Армении больше пока не передавали. Но и того, что уже сказали, было достаточно, чтобы понять: помощь там нужна в таких масштабах, которые отсюда, из Москвы, даже представить трудно.

Уже назывались фамилии врачей, которые поедут от Склифа, хотя о поездке еще не объявили официально. Говорили: Петрицкий, Соломин точно, скорее всего, еще Аверченко, наверняка Ларцев… Юрина фамилия не называлась ни разу, и он понимал, что она и не прозвучит. И что обижаться так же бессмысленно, как требовать, – тоже понимал. Не до амбиций, поедут врачи с таким опытом, которого нет и просто быть не может у молодого ординатора…

Понимать-то он понимал, но и сидеть на месте, как будто ничего не случилось, – это тоже было не по нему.

Главное, что он знал: безвыходных ситуаций не бывает. Или, во всяком случае, их гораздо меньше, чем люди склонны думать. Безвыходна только смерть, а пока человек жив, дело небезнадежно, даже если он кажется полутрупом.

Ну, а сам он пока еще, слава Богу, жив, и даже не полутруп, – значит, должен найти выход.

Надо было придумать что-то, чтобы избавиться от незнакомого, свербящего чувства неправильности происходящего с ним, которое не давало Юре покоя с самого утра.

И для этого надо было прежде всего рассудить логически. Итак, от Склифа он не поедет – это факт. Поехать он должен – это тоже факт. Каким образом обыкновенный человек из Москвы может попасть в район землетрясения в Армении? Как частное лицо – никогда, там наверняка уже патрули, оцепление, да и билетов не возьмешь на самолет. Значит, надо искать организацию, которая его отправит.

И тут, при слове «организация», Гринев сразу понял, к кому надо обратиться.

Он вспомнил горнолыжную базу на Джан-Тугане, куда ездил каждый год, еще школьником. Вообще-то база была не мединститутская, а МВТУ имени Баумана. Но в Бауманском у Валентина Юрьевича работали друзья, сам он в студенческие годы тоже ездил на Эльбрус – до травмы, конечно, – и пристроить сына на горнолыжную базу не составляло особого труда.

Юру совершенно не привлекал альпинизм, которым увлекалось множество его ровесников. Ему казалось странным стремление рискнуть, чтобы «испытать себя»; даже песни Высоцкого на эту тему не нравились. Как это можно «испытывать себя», искусственно создавая рискованные ситуации? А главное, зачем?

То есть сначала он не думал об этом так определенно – просто не находил удовольствия в альпинистском лазанье по горам. А потом, когда на старших курсах началась настоящая работа, Юра и вовсе стал относиться к пустому риску с брезгливым недоумением.

Но горные лыжи – это было совсем другое. Это он любил, в этом чувствовал для себя наилучшую возможность отдыха. Не бессмысленной «проверки», а именно наполняющего новой силой отдыха, который был ему необходим.

Юра приезжал на Джан-Туган после зимней сессии, уставший до головной боли, зеленый от изматывающего бессонного марафона, которым всегда были у них зачеты и экзамены, – и видел горы…

О них ничего нельзя было сказать. Во всяком случае, он ничего не мог о них сказать, и не хотел. Только то, что вот – горы, стоят недвижимые, в чистоте своей и отдельности ото всех и всего, и жизнь дышит через них из глубины земли.

Здесь, на Джан-Тугане, Юра и познакомился с Борей Годуновым.

До отъезда оставалось три дня, и это, конечно, было очень жаль. Юре всегда немного не хватало времени, чтобы насытиться этим особенным чувством – чувством гор, своей легкостью, свежестью, силой и беспричинной радостью. Впрочем, он подозревал, что так оно и должно быть: всегда должно не хватать этого времени…

Во всяком случае, каникулы кончались и пора было покупать подарки – скорее всего, такие же, как и в прошлом году, разве что с небольшими вариациями.

За подарками, тоже как в прошлом году, он поехал маленьким рейсовым автобусом на Чегет. Здесь, на базарчике у автобусной станции, яркие кавказские старухи продавали свои незамысловатые сувениры: войлочные белые шапочки, платки из козьего пуха, варежки, носки. Юра, правда, забыл, что привозил в прошлом году, но выбор все равно был невелик, и он купил отцу носки, Еве и бабушке варежки, Полинке белую шапочку, а маме платок.

– Слушай, старичок, ты извини, такой вопрос, – услышал он вдруг.

Юра обернулся и увидел парня в красной лыжной шапочке, нетерпеливо переминающегося у него за спиной. Парень был одет в ярко-голубую пуховую куртку и большие, явно импортного происхождения, горные ботинки. Маленькие карие глаза его поблескивали пьяновато и весело.

– Такое дело, – повторил парень. – Я тебя видел, ты на Джан-Тугане живешь, на горнолыжной.

– Да, – кивнул Юра; лицо парня, впрочем, не показалось ему знакомым.

– Ну вот! – почему-то обрадовался парень. – А я у альпинистов, соседи, значит. – И он тут же перешел к делу: – Мы тут с девушкой выехали, понимаешь, отдохнуть, заскочили в ресторан, то-се, сам знаешь, – подмигнул он. – А тут она платок увидела – и хочет, что ты будешь делать, платок! По-хорошему, конечно, надо бы ее отговорить. Ты глянь на нее, разве она будет по Москве ходить в платке? Но женский каприз – святое дело!

Оглянувшись, Юра увидел девушку своего неожиданного собеседника. Та стояла рядом со старушкой, у которой он сам только что покупал подарки, и рассматривала ажурный платок из белого пуха. Парень был прав: едва ли такая девушка будет носить в Москве платок. Очень уж она изящная в своей короткой красной курточке, очень уж эффектны ее обтягивающие брючки, и круглая шапочка лихо сидит на светлых кудрях.

– Ну, купи ей платок, раз святое дело, – не совсем понимая, при чем тут он, пожал плечами Юра.

– Так я же и говорю! – воскликнул парень. – В ресторан же, говорю, заехали, кто ж знал!

– Тебе деньги, что ли, нужны? – наконец догадался Юра.

– Шерлок Холмс! – радостно улыбнулся парень. – Зришь в корень! Займи, землячок, денег до Москвы, а? Я, понимаешь, завтра отъезжаю, на нуле сижу. А в Москве сразу верну, – заверил он. – Я тебе и адрес оставлю, и телефон. Да я не проходимец какой-нибудь, ты не думай. Бауманское кончил в прошлом году, работаю по комсомольской линии. Не обману! – подмигнул он.

Будь у Юры с собой деньги, он легко отдал бы их этому парню: в самом деле, не обманет же, наверное. Но денег у него после покупки подарков не осталось, о чем он и сообщил комсомольцу.

– Ох ты, елки-палки! – расстроился тот. – Да-а, некрасиво будет перед девушкой…

Он действительно расстроился: все лицо его выражало разочарование, и карие глаза… Даже щегольская куртка, казалось, потускнела.

В общем-то не было ничего страшного в том, что будет «некрасиво» этому комсомольскому работнику. Не умрет же его девушка без пухового платка! И Юре нечего было особенно из-за этого переживать, тем более парня он видел в первый и, скорее всего, последний раз в жизни. Но это детское разочарование в круглых глазах…

– Слушай, – вздохнув, сказал Юра, – денег нет, но я платок у той же бабки только что купил – по-моему, такой точно. Ты спроси, может, ей этот сойдет?

– Ну, старик, ты молоток! – Радость выразилась в круглых глазах и во всем подвижном лице этого парня так же мгновенно и открыто, как разочарование. – Вот этого не забуду! Конечно, такой точно, или обменяем сейчас, делов-то! Как, говоришь, тебя зовут?

«Кажется, я маме такой платок уже привозил, – смущенно подумал Юра. – Или варежки? Ну, что теперь вспоминать…»

– Держи координаты. – Парень извлек из кармана блокнот, пеструю ручку с каким-то иностранным гербом. – Я тебе домашний даю и рабочий, в цекамоле. Знаешь, где ЦК комсомола? А ты мне свой запиши вот сюда. Ну, спасибо тебе!

Он посмотрел на Юру веселым и чуть более долгим, чем прежде, взглядом, хлопнул его по плечу и побежал к своей девушке, прижимая локтем сверток с платком.

Листок из блокнота Юра машинально сунул не глядя в карман и только у себя в комнатке на базе прочитал нацарапанную на нем фамилию – Борис Годунов, и два телефона.

«Надо же! – уже весело подумал он. – Почти что заячий тулупчик для Пугачева!»

Вот этому инструктору из ЦК комсомола Юра и решил позвонить сейчас, хотя видел его в Москве всего один раз: через неделю после Джан-Тугана, когда тот возвращал деньги.

По тому, как долго отвечал короткими гудками его рабочий телефон, Юра догадался, что не ошибается, обращаясь к Годунову.

– Да, слушает штаб! – наконец раздалось в трубке. – Гринев, Гринев, кто такой Гринев? Не припоминаю что-то… А! – наконец вспомнил Борис, и по этой мгновенно мелькнувшей интонации Юра вдруг представил его круглые веселые глаза. – Конечно, помню, как тебя, Юра? Как не помнить пуховый платочек!

Объяснять, чего он хочет, тоже долго не пришлось. Судя по всему, того же самого хотели от Годунова все звонившие в этот день.

– Завтра вылетаем, – без долгих расспросов сказал Борис. – Из Внукова, сбор в семнадцать тридцать возле самолета. Да не на летном поле, ты что – возле памятника самолету, на площади стоит, знаешь? Повезло тебе, я как раз собирался список закрывать! Ты у нас кто будешь – альпинист, горнолыжник? Ага, врач к тому же, отлично. Отчество как твое?

Глава 6

Посреди площади во Внукове горой лежали матрасы, ящики, палатки, какое-то альпинистское снаряжение. Юре стало неловко, что он явился без ничего, с одним рюкзаком. Хотя что же он мог бы захватить с собой?

Весь этот сбор немного напоминал отправку в турпоход. Ребята смеялись, даже гитара была в руках какой-то девушки из провожающих, песня звучала в сыром воздухе ранней московской зимы…

Самолет брали чуть не штурмом, хотя весь «Ил-86» был предназначен только для них. Но что будет перегруз, это стало ясно еще до того как все наконец-то расселись в салоне – кто в креслах, а кто на ящиках и рюкзаках.

Начались долгие уговоры: летчики сначала увещевали по радио, потом сами вышли к неуступчивым пассажирам, Боря Годунов метался по салону, грозился, но все это было бесполезно. Выгружаться никто не собирался, и самолет рисковал не взлететь никогда, если бы вдруг не объявили, что сел второй борт из Еревана, который возьмет абсолютно всех.

– Под мое честное слово, ребята! – уговаривал командир экипажа. – Такое несчастье у нас, что я обманывать вас буду? Перегружайтесь скорее половина на другой самолет!

И снова началась эта возня, только в обратном порядке: ящики, рюкзаки, матрасы, палатки…

Юра на минуту остановился покурить рядом с командиром экипажа, стоящим у трапа.

– Извините, – сказал он. – Одно беспокойство вам с такими помощниками.

– Беспокойство! – Голос летчика прозвучал горько. – Какое беспокойство, мы вам благодарны, что туда летите… Ты еще себе просто не представляешь, что у нас там творится!..

Это и было главное, что они поняли сразу, как только приземлились и выгрузились из самолета в ереванском аэропорту Звартноц: что они себе просто не представляли… Все происходящее здесь происходило как будто в другом мире, который просто невозможно было себе представить из их обычного московского мира.

– Да-а… – протянул бывший «афганец» Василий, обводя взглядом зал ожидания. – Это уж как-то совсем…

Юра и сам не нашел бы точных слов, чтобы объяснить увиденное. Собственно, главным было не то, что виделось, а то, что чувствовалось, просто висело в воздухе: ощущение огромного, слишком большого, слишком всех касающегося горя.

Оно было в обведенных темными тенями глазах женщин, молча сидящих на скамейках и стоящих у стен. Оттого, что все эти женщины были одеты дороже и тщательнее, чем одевались женщины в Москве, – ощущение горя только усиливалось.

Оно было в том, как вздрагивал весь зал, как только оживал динамик: связи со Спитаком и Ленинаканом не было, и родственники ждали здесь, в аэропорту, хоть каких-нибудь известий оттуда…

Мгновенно стихли шуточки и анекдоты, не прекращавшиеся даже в самолете. Все чувствовали одно – растерянность перед лицом этого горя, которое было теперь совсем близко, и всем хотелось одного – поскорее добраться туда, где можно что-то делать, а не стоять в этой жалкой растерянности.

Дорога на Ленинакан была темна и пуста. Кроме автобуса, в который они погрузились в аэропорту, шли туда только редкие «Скорые» со включенными маячками. Обратно не ехала ни одна машина, и было что-то зловещее в этом однонаправленном движении во влажной тьме, под яркими южными звездами.

Молчали, курили, ждали, когда же въедут в город, – и все-таки пропустили этот момент.

В городе стояла такая же тьма, как на дороге; только редкие костры напоминали о том, что здесь еще теплится какая-то жизнь.

– А ехать-то нам куда, знаешь? – спросил Борис у шофера, пожилого армянина.

– Приезжал сюда… раньше, – хмуро ответил тот. – Искать будем.

Искать улицу Кирова, на которой должен был находиться штаб спасательных работ, пришлось долго.

– Не узнаю, ничего не узнаю, да, – повторял шофер, поворачивая то направо, то налево в кромешной темноте. – Улица Кирова тут должна быть – нету…

– Это что ж такое?.. Это ж конец света какой-то… – мрачно произнес за спиной у Гринева Андрей Чернов, инженер-радиолюбитель из Подольска. – Кто б рассказал, что бывает так, не поверил бы…

Юра сидел на первом сиденье, смотрел в лобовое стекло и тоже не верил, что видит все это наяву.

Зловеще молчащий, совершенно темный город. Некоторые дома стоят, как будто ничего не случилось, но подъезжаешь ближе – и видно сквозь пустые оконные проемы, что внутри ничего нет, даже перекрытий не осталось. Другие накренились, как в фантастическом фильме, и кажется почему-то, что их можно поправить, поставить ровно… А больше всего – развалины, развалины, жуткие нагромождения ушедшей жизни.

– Неужели есть еще кто живой? – так же мрачно произнес Андрей. – Не верится что-то…

– Все, ребята, кончили ныть, – сказал Годунов. – Некогда будет, судя по всему.

Насчет того, что будет некогда, Борис догадался правильно. Впрочем, на это и не нужна была особенная догадливость. Все события пошли дальше одной непрерывной полосой, и Юра только изредка отмечал про себя: ничего не видно – значит, ночь, а теперь опять видно – день…

Борис Годунов сразу отправился в штаб – выяснять, где им ставить палатки и что вообще делать.

– Пошли со мной, Юра, – сказал он, почему-то выделив Гринева из всего своего отряда. – Скоординируемся там, насчет бульдозера поинтересуемся, может, сразу выбьем, у нас же есть бульдозерист. Вообще поспособствуешь там, если что…

Но способствовать чему-нибудь в штабе, расположенном в уцелевшем старом здании Дома детского творчества, было бесполезно.

В пустой комнате сидел за единственным столом единственный мужчина – заросший черной щетиной, с красными от двухдневной бессонницы глазами. А вокруг стола, и в дверях комнаты, и в коридоре перед дверьми толпилось множество людей.

– Нэту у меня бульдозер, понимаешь – нэ-ту! – охрипшим голосом говорил этот единственный начальник. – И кран больше нэту, не могу тебе помочь, понимаешь, да? Давай сам копай, сколько можешь, как брата прошу! Техника идет, со всего Советского Союза идет техника!

В минуту оценив обстановку, насчет бульдозера Годунов интересоваться не стал – удовольствовался тем, что ему объяснили, где разместить палаточный лагерь московского отряда.

– Откуда ж она, интересно, идет, техника эта? – неизвестно у кого спросил Борис, когда они с Юрой уже выходили из здания штаба. – А еще интересней, кто под развалинами доживет, пока она дойдет…

Больше вопросов, обращенных в пустоту, Боря не задавал. И скоординировать его действия тоже никого не просил. Все прибывшие спасательные отряды координировались сами собою, сами ориентировались в обстановке и устремлялись туда, где их помощь была необходима в данную минуту.

Только много позже, уже вернувшись из Армении, Юра понял: чтобы сообразить все это сразу, с первых минут в Ленинакане, нужен был живой, быстрый и твердый ум – тот самый, которым, как выяснилось, обладал Боря Годунов.

Даже Гриневу, травматологу Института скорой помощи, привыкшему, что несчастья случаются с людьми ежеминутно, – трудно было осознать такой объем катастрофы. Что же было говорить об остальных – молодых, веселых парнях, проживших жизнь в стране, где не падают самолеты, не гибнут люди, не бывает стихийных бедствий! Зрелище разрушенного города свалилось на них так неожиданно и сразу, как будто они сами стали жертвами землетрясения…

Но задумываться об этом было некогда: каждый час стоил чьей-нибудь жизни, и каждый час был поэтому бесценен.

Юра заглянул в расположение годуновского отряда поздно вечером. Он почти и не работал с ребятами на расчистке развалин – сразу нашел бригаду склифовских врачей и присоединился к ним. Собственно, и искать особенно не пришлось: для работы пригодны были только уцелевший роддом и станция «Скорой помощи».

Андрей Семенович Ларцев, возглавлявший бригаду, даже не удивился появлению Гринева.

– А, и вы здесь, Юрий Валентинович, – только и сказал он, когда Юра заглянул в сестринскую на первом этаже; было часов десять вечера, и врачи обедали. – А я думал, вы в отпуске. Сами, что ли, добрались?

– Ребята помогли, – не вдаваясь в подробности, ответил Юра. – Андрей Семенович, по-моему, целесообразнее было бы, если бы я присоединился к вам.

– Естественно, – кивнул Ларцев. – Мы здесь, знаете ли, на отсутствие работы не жалуемся, всем хватит.

Это было через двенадцать часов после приезда в Ленинакан – бесконечное время! Юра уже и сам не удивлялся ничему, и не удивлялся, что не удивляется Ларцев.

Врачи и сестры не выходили из операционной ни днем ни ночью, не обращая внимания даже на подземные толчки, которыми то и дело сотрясались уцелевшие дома. У каждого из местных врачей погиб кто-нибудь из близких, но работали все одинаково, и этому тоже никто не удивлялся.

– Перекусите с нами? – спросил Ларцев.

– Спасибо, я ел, – покачал головой Гринев.

– Ну, пойдемте тогда. – Андрей Семенович поднялся из-за стола, отряхнул крошки с усов. – Вы где остановились?

Идя вслед за Ларцевым к операционной, Юра еще успел улыбнуться этому светскому вопросу – и больше времени на улыбки не было.

И вот он наконец нашел время, чтобы проведать Борьку. Юре все-таки было немного неловко, что он воспользовался «комсомольской линией» в собственных целях. Да и Боря Годунов стал ему дорог за те первые часы, которые они провели вместе, вытаскивая людей из-под завалов.

Было уже темно, годуновские ребята сидели у костра перед палатками. Казалось, что их ряды поредели, но дело было только в том, что некоторые, плюнув на толчки, перебрались из палаток в уцелевшие дома, чтобы несколько часов сна проводить хотя бы не на земле.

Борька обрадовался, увидев Гринева, и тот вздохнул с облегчением: значит, не обижается.

– Ну, как ты там, Юра? – спросил Годунов. – Не обижают тебя без нас?

– Кому обижать-то? – улыбнулся Гринев. – И когда?

– Это да, – согласился Борис; его подвижное, живое лицо стало печальным, печальны были и круглые, обычно веселые глаза. – А мы в школе так никого живых и не нашли… Швейцарцы виброфонами слушали, собак пускали – думали, может, хоть кто-то… Если б хоть на

пять минут позже тряхнуло! – В его голосе прозвучало отчаяние. – Большая перемена началась бы. А так – лежат детки целыми классами… Съешь чего-нибудь, – вспомнил он. – Вас там хоть кормят по-человечески?

За дни, проведенные в хаосе Ленинакана, Боря явно привык рассчитывать только на себя. Представить, что кто-то еще заботится о питании людей, ему было трудно.

– Я не голодный, – покачал головой Юра. – Да и аппетита нет. Устал, наверно.

– А то, – кивнул Борька. – Поди не устал! Да запах еще этот… Мне уже кажется, до конца жизни меня этот запах преследовать будет.

Юра кивнул: ему тоже казалось, что до конца жизни будет преследовать его запах землетрясения – бетонной пыли, трупов, крови, плохого бензина…

Он посидел еще немного у костра и поднялся.

– Пойду, Боря, – сказал Гринев. – Поспать надо. И не спал же вроде давно, а не хочется почему-то. У тебя покурить нету?

Курево было самой большой проблемой. Есть и правда не хотелось нисколько, а курить хотелось просто зверски – и нечего было. Честное слово, хороший повод пожалеть, что «не послушался маму» и не бросил курить!

– Вообще-то нету, но для тебя найду, – улыбнулся Борис. – «Космоса» целых полпачки заначил, еще во Внукове купил. Погоди, себе одну оставлю. А я с женой поругался, – вдруг, без паузы, грустно сказал он. – Прямо перед отъездом, она даже к теще ушла. Да ты ж ее знаешь, – вспомнил он. – Платочек-то, а? Ну вот, та самая. А чего поругались – черт его знает, даже вспомнить теперь не могу…

– Вернешься – помиришься. – Юре почему-то радостно было смотреть в Борькины детские глаза, даже когда в них стояла печаль. – Пока, Боря, увидимся.

– Я тебя провожу немного, – сказал, вставая, Годунов.

Через несколько дней после землетрясения город все-таки выглядел немного живее, чем в ночь их приезда. Или просто они привыкли?

Слышны были звуки работающих бульдозерных моторов, голоса спасателей, грохот растаскиваемых бетонных плит. Прожекторы горели, освещая марсианский пейзаж и фигуры людей на развалинах. Оставшиеся в живых местные мужчины работали у своих домов, пытаясь добраться туда, где когда-то были их квартиры; приезжие спасатели помогали всем подряд.

– Во-он, видишь, тоже наши работают, из Москвы, – показал Боря. – Зайченко у них начальник, из авиационного института, сами альпинисты. Он мне вчера рассказывал, как они в Шереметьеве самолет захватывали. Пришли, билетов нет, конечно. Зайченко к начальнику аэропорта, а тот ему: посадить я твоих ребят не могу, но вон там стоит самолет, если пробьетесь сами, я возражать не буду… Ну, они встали коридором, никого пассажиров не пустили, да и пробились, – улыбнулся Боря. – Что ж это такое, Юра? – секунду помолчав, проговорил он совсем другим голосом. – Как же это может быть, чтобы…

Договорить он не успел, привлеченный чьим-то громким криком.

– Что это там? – обернулся на крик и Гринев.

Вообще-то отчаянному крику удивляться не приходилось. Может, достали еще кого-нибудь из-под развалин – наверное, неживых…

Но картина, которую они увидели на небольшой площади перед полуразрушенными домами, говорила совсем о другом.

На этой освещенной прожектором площади лежали мертвые. Наверное, их положили здесь до тех пор, пока удастся достать гробы, ставшие теперь в Ленинакане едва ли не самым дефицитным товаром. Рядом с трупами темнели фигуры родственников, более страшные в своей неподвижности, чем сами трупы.

И там, среди этих фигур, возникло какое-то движение, оттуда донесся крик.

Отчаянно кричал мальчик-подросток, отталкивая какого-то мужчину, который сначала пытался отшвырнуть его от себя, а потом, оглядевшись, почему-то бросился в сторону, в темноту.

Юра и Борис подбежали поближе.

– Что случилось? – тут же принялся расспрашивать Борис. – Чего он кричал-то, что случилось?

Женщина в черном платке, к которой он обращался, прижимала к себе плачущего мальчика и что-то быстро говорила ему по-армянски.

– Это его мама лежит, – наконец обернулась она к Годунову. – Его мама мертвая, а он остался живой. Он за лавашем пошел, из дому вышел, а до магазина не успел дойти, и остался живой. А маму сегодня нашли мертвую…

– А-а, – протянул Годунов.

Но, оказывается, дело было даже не в этом.

– Этот подлец хотел с его мамы снять сережки! – сквозь слезы воскликнула женщина. – Он подошел, мы ничего не сказали, хотя он не с нашей улицы, мы его не знаем. Но мы ему ничего не сказали, у всех горе, у меня сын здесь лежит… Мы думали, он тоже ищет своих, поэтому ходит среди наших мертвых. А Ашотик, – кивнула она на мальчика, – увидел, что этот над его мамой наклонился и снимает сережки, понимаешь?

– Вот гад! – зло хмыкнул Годунов. – Главное, не он один же…

Юра ничего не говорил, смотрел на вздрагивающего заплаканного мальчика, на женщину, у которой на площади лежал мертвый сын.

А что было говорить? Конечно, не один… Из разрушенных больниц тащили наркотики, это Гринев уже знал. Выходит, и сережки снимают с покойников… И этому тоже не приходится удивляться, потому что все, на что способен человек, обнажено здесь до предела в обе стороны.

– Поймали! – вдруг воскликнул Борис. – Глянь, Юра, поймали!

Двое мужчин вели к площади третьего – видно, того самого. Женщины закричали вокруг, бросились к ним, потом отступили, остановленные криком одного из тех мужчин, что держали мародера.

– Видишь, колец полный карман, – зачем-то сказал Борис, хотя все и так видели, как из кармана плотного, маленького армянина доставали горсть золотых колец. – Да его ж…

Прежде, чем Борис успел договорить, один из мужчин – тот, что доставал кольца, – вдруг отпустил мародера, отступил на шаг в сторону и, быстро засунув руку за пазуху, достал пистолет. Первый выстрел прозвучал сквозь общий крик, второй – уже в полной тишине.

– Пошли, Борь, – сказал Гринев. – Мне работать через три часа, выспаться надо.

На следующий день Годунов сам появился на станции «Скорой помощи» – как раз к концу Юриного рабочего дня, который длился ровно сутки.

То есть за это время Гринев, конечно, иногда выходил из операционной, делал какие-то перерывы, даже, кажется, что-то ел. Но все это было неважно, всего этого он не помнил. Только стояли перед глазами руки, ноги, головы – окровавленные, сдавленные, размозженные…

Юра только что освободился – если можно было назвать освобождением это никак не спадавшее напряжение, – побрился и уже собирался лечь поспать в отведенной для врачей палате, когда вдруг возник в дверях Борька и вытащил его на улицу, за угол больницы.

– Случилось что-нибудь? – спросил Гринев.

В глазах у него все плыло, даже Борино лицо он различал с трудом.

– Да ничего вообще-то. – Голос у Годунова был мрачный. – Так… Юр, у тебя тут спиртику не найдется? – вдруг жалобно попросил он.

Юра невольно улыбнулся. Спирт, конечно, был, и давать его кому-нибудь было, конечно, не положено. Но мало ли чего не положено! Все равно каждый решал сам, что можно и что нельзя: следить за выполнением правил было просто некому.

Боря одним глотком выпил полстакана, поморщился, отодвинул галеты, принесенные Юрой вместе со спиртом.

– Еще чего, градус драгоценный закуской глушить. – Он покачал головой и наконец улыбнулся. – У меня, Юр, знаешь, какое-то мозговое сжатие образовалось. Нет, ей-Богу – от развалин этих, наверно. Мозговая рвота, вот что! Есть у вас такой термин? Чуть не сдох, на тебя вот пришел посмотреть.

– Почему на меня? – удивился Гринев.

Усталость его развеялась как-то сама собою. Впрочем, это всегда происходило с ним от одного вида Бори, он уже успел заметить.

– А бреешься потому что каждый день, – улыбаясь, объяснил Годунов. – Впечатляет! Да ты не волнуйся, я надоедать не буду, посижу пять минут и пойду.

Юра действительно брился каждый день, и не только в Ленинакане. Но если дома ему просто противно было ходить небритым, это было чем-то само собою разумеющимся, то здесь, конечно, было не до того и приходилось заставлять себя бриться – хотя бы перед тем как завалиться спать. Как будто это торопливое бритье стало здесь чем-то большим, нежели простая гигиеническая привычка…

– Ну, я, может, тоже от мозговой рвоты лечусь, – усмехнулся он.

И тут же заметил, что Борино лицо совсем переменилось.

Годунов больше не улыбался, не рассказывал про мозговое сжатие, не просил спиртику. Злое, растерянное отчаяние стояло в его глазах, и от этого они казались еще круглее, чем обычно.

– Юра, как же это может быть? – произнес он, и Гринев вспомнил: что-то такое Борька начал было говорить вчера, но не успел из-за мародера. – Нет, ты скажи мне, как такое может быть? – Он заговорил быстро, горячо, словно торопясь выплеснуть все, что переполняло его, не давало покоя. – Столько народу погибло – ведь тысячи только здесь, а в Спитаке, говорят, вообще мало кто остался, а про села и вовсе забыли… И что? И ничего, вот что! Ну, мы приехали, конечно, если кто на самолет прорвался. Но страшно же смотреть! Мужики плачут, ногтями плиты рвут. Порвешь тут, когда ребенок твой под ними стонет, может, умрет через час… «Техника идет»! – сердито передразнил он. – Нет, я понимаю, стихия и все такое. Так что, выходит, про это никто вообще не думал? Никто, что ли, не знал, что тут сейсмозона, что всякое может быть? И, главное, нету же у нас ничего… Швейцарцы от Красного Креста приехали – е-мое! Виброфоны у них, еще такие штуки, чтоб по тепловому излучению определять, где человек лежит. Прямо, Юр, на экране видно, где у него ноги, где голова… Собаки – и те специально обучены, чтоб людей искать под завалами! А какие, сам подумай, в Швейцарии могут быть завалы? Может, раз в сто лет, и то вряд ли, а они собак научили… Почему это так, можешь ты мне объяснить?

Юра вдруг почувствовал, как одновременно с жалостью к Боре поднимается у него в груди раздражение – может быть, просто от усталости? Ему противно стало: этот круглоглазый комсомольский работник спрашивал у него о том, что прекрасно понимала бабушка, что понимали родители, что сам он знал с мальчишеских лет…

– Это ты меня спрашиваешь? – медленно произнес Гринев. – Ты – меня? А может, я тебя должен спросить?

– Да пошел ты! – Борька вскочил с бордюра, на котором они сидели вдвоем. – Праведник хренов нашелся, пошел ты знаешь куда! Не сердись, Юр, – произнес он, помолчав. – Я ж понимаю… Но я этого дела так не оставлю, помяни мое слово! – Он снова сел, ударил себя

кулаком по колену. – Я это все досконально выясню в Москве, вот увидишь! Ладно. – Боря отряхнул стройотрядовские штаны, поднялся. – Спиртику бы еще, да времени нет. Пойду.

– Давай уж теперь я тебя провожу немного, – виновато сказал Юра.

Ему уже было стыдно, что он ни с того ни сего вздумал предъявлять Борьке дурацкие претензии. В конце концов, Годунов сейчас в Ленинакане, а не в комсомольском кабинете. И если бы не он, сидел бы ты, Юрий Валентинович, сейчас в Москве со своими претензиями да локти кусал.

Декабрь в Армении был, конечно, совсем не такой, как в Москве. Морозило только ночью, а днем температура еще держалась плюсовая. И все торопились, торопились расчистить завалы до наступления холодов: все-таки было больше шансов, что по теплу люди выживут под развалинами…

Юра решил дойти с Борисом до угла и сразу вернуться. Действительно, надо было поспать, а потом готовить раненых: вечером самых тяжелых отправляли в Ереван, а оттуда самолетом в Москву. Вместе с ранеными улетала склифовская бригада, на смену которой должна была прибыть новая. Ну, а у него был отпуск, и улетать ему было необязательно.

Но разгуливать по улицам Ленинакана просто так, приятно беседуя с товарищем, было невозможно. А с Борькой особенно.

– А чего это там ребята столпились? – заметил Годунов, едва они отошли на сто метров от больницы. – Глянь-ка, возле дома пятиэтажного?

«Все-то он видит! – с каким-то мальчишеским восхищением подумал Юра. – И что столпились, и что дом пятиэтажный… Какой он теперь пятиэтажный, когда обвалился весь?»

Но Борис уже спешил к «пятиэтажному» дому, и Гринев незаметно для себя пошел за ним.

– Что, Игорь, живого, что ли, нашли кого? – поинтересовался Борис у старшего, высокого парня в черном матросском бушлате – оказывается, и его он тоже знал.

– Найти-то нашли, да вытащить не можем, – ответил Игорь. – Женщина там лежит, живая, только без сознания была. Между плитами лежит, они над ней домиком таким сложились. У нее руки роялем были придавлены, только сейчас ломом отжали, – объяснил он. – Мы уже сверху пробовали до нее добраться – ни фига, сразу плиты расходятся, того и гляди упадут. Вот, сбоку расчистили дырку, только…

– Что – только? – быстро переспросил Борис.

– Только там труп лежит, – нехотя сказал Игорь. – Тоже женщина, закоченела уже. Ну, мы ее пытались вынуть, но у нее ноги плитами зажаты – никак…

– И что теперь?

– Да что… Выходит, распилить ее надо, – так же нехотя сказал Игорь. – Пилой…

– Так чего ж вы ждете? – возмутился Годунов. – Пока живая закоченеет?

– Ну, как-то…

– Где она лежит? – спросил до сих пор молчавший Гринев. – Правда, чего ждать? Давай пилу.

– А ты сможешь? – Лицо у Игоря оживилось, дернулась длинная детская шея. – А мы, понимаешь, никак решиться не могли, – немного виноватым тоном добавил он. – Не приходилось же никому такое… А наверху там, кажется, еще кто-то есть – вроде камешком стучали.

Мертвая женщина, труп которой ему предстояло распилить, чтобы спасти живую, была одета в шелковый японский халат – раньше, наверное, красивый, а теперь в клочья изорванный, засыпанный серой пылью. Лица ее не было видно, да Гриневу и не хотелось видеть ее лицо.

– Может, водки хлопнешь? – сочувственно предложил Игорь. – Все-таки легче будет…

– Не надо, – отказался Гринев. – Я сейчас.

Ему тоже никогда не приходилось делать такое, хотя за эти дни пришлось делать в операционной то, о чем он прежде и помыслить не мог. Конечно, сделать это должен был он, врач, а не Игорь с его мальчишеской шеей, торчащей из взрослого бушлата. Но Юра даже не представлял, что и для него это окажется настолько нелегко – пилить труп… Одно дело в анатомичке, где перед тобою просто кадавр, и совсем другое – вот эту женщину в шелковом домашнем халате…

В щель между плитами он увидел вторую женщину, к которой и пробивались спасатели. То есть увидел только ее лицо у самой щели – совершенно белое, неподвижное, с глубоко запавшими глазами.

«Да она живая ли? – мелькнуло у него в голове. – Может, поздно уже…»

И вдруг, словно отвечая на его безмолвный вопрос, женщина медленно открыла глаза. В них, как в черных ямах, не было уже ни страха, ни боли – только бесконечный, последний мрак.

– А маму? – вдруг прошептала она так ясно, что Юра легко расслышал ее слова. – Мою маму?

– Где мама? – Он приблизил лицо прямо к щели между плитами, чтобы не говорить слишком громко: боялся, что от звуков его голоса сдвинется что-нибудь в хрупком равновесии развалин. – Где мама, вы ее видите?

Удивительно было, что женщина, столько времени проведшая под развалинами, еще понимает что-то в окружающем ее ужасе и даже может говорить. Но она говорила, и Юра явственно слышал ее голос.

– Вот мама, – прошептала она, и Юра понял: это о той самой, труп которой он собирается пилить. – Я ее вижу…

Медлить было уже невозможно. Он снял с себя куртку, накинул на щель между плитами, сквозь которую она видела свою маму, и взялся за пилу.

Она была красивая и, наверное, молодая – хотя трудно было точно определить возраст по ее полумертвому лицу. И длинные, сбившиеся в колтун черные волосы казались седыми под слоем бетонной пыли – или они и стали седыми? На ней был точно такой же шелковый халат, как на ее маме; Юра смотреть не мог на эти цветы, драконов, веера…

Ребята за ноги вытянули женщину из-под плит. С виду все у нее было цело, только кожа была рассечена на виске, запеклась черная ссадина. Но он вспомнил про рояль, которым были придавлены ее руки, сразу посмотрел их – и понял, что медлить нечего.

«Сколько суток прошло? – лихорадочно подсчитывал Юра. – Сдавление, почки вот-вот могут отказать, если еще не отказали».

Ему стало страшно при мысли, что она – живая, завернутая в его лыжную куртку – вдруг умрет у него на руках, когда все уже позади, когда ее нашли, спасли, и больница в ста метрах отсюда!

Гринев беспомощно огляделся. Все, что он знал, что умел, вдруг выветрилось у него из головы при виде этого прекрасного мертвеющего лица…

– Так, мужики! – донесся до него голос Бориса. – Раз, говорите, сверху стучали, вверх и будем долбиться. Только вы станьте вдвоем, держите меня за шкирку и наблюдайте внимательно. Я ж не услышу, если плита падать начнет, а вы меня тогда как раз и оттащите.

Треск отбойного молотка вывел Юру из оцепенения – впрочем, он не больше минуты находился в этом несвоевременном состоянии, держа на руках завернутую в куртку женщину.

– Боря, я ее забираю! – на всякий случай крикнул он, хотя Годунов едва ли мог его расслышать. – Она живая, я ее сегодня в Москву постараюсь отправить!

Глава 7

Зима до Нового года стояла на редкость спокойная: без буранов, без ураганов, – одним словом, без всех природных катаклизмов, которыми сопровождалась едва ли не каждая зима на Сахалине.

Юра даже набрал побольше дежурств в больнице: дел-то в отряде пока, слава Богу, почти не было.

К сожалению, он плохо умел развлекаться. То есть вообще не умел выдумывать для себя, а тем более для других, приятные и необременительные занятия, которые почему-то называются отдыхом, хотя, наоборот, требуют специальных усилий.

У него были все основания считать себя малоинтересным человеком – во всяком случае, для окружающих. И если в Москве, где люди жили все-таки более разобщенно, это почти не было заметно, то здесь, на Сахалине, стало для Юры очевидным.

Он почувствовал это почти сразу, как только прошло то первое время, в которое новый человек еще может считаться приезжим: когда его еще водят за город на сопки, возят в Охотское и в Аниву, показывают, приглашают… Это время кончилось примерно через полгода после прибытия молодого интересного доктора в Южно-Сахалинск, и пора было Юрию Валентиновичу примкнуть к одной из компаний «по интересам», которые сложились в кругу его новых знакомых.

Для этого мало было, например, любить кататься на лыжах, хотя места для этого на сахалинских сопках были благодатнейшие, чем Гринев с удовольствием и пользовался. Но войти в компанию – это было все-таки другое…

Проще всего, конечно, было стать бабником. Для этого у Юры явно были все данные – даже больше их было, чем у признанного главы этой довольно обширной компании Гены Рачинского.

Можно было увлечься обработкой камней. Это было дело благодатное и здоровое: за камешками ходили в самые отдаленные уголки, ночевали в палатках, по дороге купались на безлюдных и живописных пляжах. Знатоки этого дела взахлеб делились секретами ремесла – рассказывали о специальных алмазных пилах, каких-то еще кругах… Юра даже привозил эти самые круги из Москвы по просьбе больничного завхоза Омельченки – покупал в Измайлове, когда ездил в отпуск.

Много было автолюбителей, досконально знавших в своих железных конях каждый винтик. Машины на Сахалине были в основном японские, с правым рулем; они уже и в самом деле являлись не роскошью, а средством передвижения. Юра помнил, как однажды прокатилась по всему Приморью волна народного гнева, когда из Москвы почему-то запретили сдуру этот правый руль. Просто забыли, что именно такие машины привозят во Владивосток из плавания все моряки, и прикрыть этот прибыльный бизнес – это даже не обмен сторублевых купюр, это похлеще будет!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.